

# НОВЫЙ ГРАД

ИНСТИТУТ  
НАУКИ И ИНФОРМАЦИИ  
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ  
Академии наук СССР

под редакцией

И. Бунакова, Ф. Степуна и Г. Федотова



6 BIBLIOTHÈQUE RUSSE  
TOURGUENEV  
9, Rue de Val-de-Grâce, 9

ПАРИЖ  
1933

## О національном покаяніи

И лжует, смѣясь над тобой, сатана,  
Что была ты Христовой звана.

В. Иванов (Cor ardens).

### Содержаніе:

	Стр.
<i>Г. Федотов.</i> О національном покаяніи .....	3
<i>Ф. Степун.</i> Любовь по Марксу .....	12
<i>М. Цветаева.</i> Эпос и лирика современной Россіи. — Вла- дѣмир Маяковский и Борис Пастернак .....	28
<i>С. Гессен.</i> Судьба коммунистическаго идеала образования ..	42
<i>П. Михайлов.</i> Размышленія у врат Новаго Града .....	60

### С в о б о д н а я т р и б у н а

<i>Е. Кускова.</i> Инициатива дѣйствій .....	68
----------------------------------------------	----

### И д е и ж и з н ь

<i>Мон. Марія (Скобцова).</i> Крест и серп с молотом. — <i>Б. Иж- болдин.</i> Нѣмецкіе экономисты о совѣтском хозяйствѣ. — <i>Г. Федотов.</i> Пореволуціонная пресса .....	78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

### К н и г и

<i>Б. Ижболдин.</i> W. Koch. Die bolschewistische Gewerkschaften. — <i>П. М. Савицкій.</i> Мѣсторазвитіе русской промышленности. — <i>С. Жаба.</i> Вишняк. Всероссийское Учредительное Собраніе .....	91
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Быть может, религиозная судьба Россіи сейчас лишена того, что называется общественной актуальностью. Внѣшне побѣжденная, религія в Россіи загнана в подполье. Вѣрность церкви, участіе в ея жизни равносильны отказу от внѣшней не только политической, но и профессиональной работы. Соціальные процессы, совершающіеся в Россіи, приобрѣли столь оголенно-материальный, стихійный характер, что кажется трудно внести в нѣ безчеловѣчную механику такой невѣсомой, такой «ирреальный» момент, как религиозная вѣра христіанскаго остатка. Огромное множество живущих и дѣйствующих в Россіи людей, особенно молодых, вѣроятно, просто не замѣчают явленія религиозной жизни; во всяком случаѣ не относятся к нему серьезно. Утверждать при этом, что паденіе большевиков необходимо связано с религиозным возрожденіем Россіи, кажется нестерпимой фальшью. Большевикомъ может пасть от саморазложенія своей идеи, от сопротивления экономической стихіи — гораздо раньше, чѣм религиозность в Россіи станет замѣтной общественной величиной.

Но совершенно иначе встанет вопрос, когда мы от разрушенія большевизма перейдем к возстановленію Россіи. Россія для нас — не голое «мѣсторазвитіе», не условное имя Восточно-Европейской равнины с конгломератом народностей, вовлеченных в техническую цивилизацію Запада. Представим себѣ, что нам суждено вернуться в освобожденную Россію и работать для нея остаток наших дней. Что мы увидим, что мы узнаем от Россіи? Культура, моральный облик, самая внѣшность, от одежды до физическаго типа людей (отяжелѣвшаго, заострившагося) так измѣнились, что мы можем не признать в них своих, как они в нас. Что же останется от Россіи?

ВИБЛІОТЕКА  
ТОМОСІИ  
que de Volde

Язык? — но столь переродившийся, что каждое слово будет мучительно рѣзать ухо. Земля? — единственно неизмѣнная, всегда любимая... но которая может стать для нас кладбищем, гдѣ, среди развалин и исторических памятников, нам останется только плакать о Россіи. Среди «младого, незнакомаго» племени утѣшит ли нас горячка американскаго строительства, самодовольство грошеваго просвѣщенія, даже физическое здоровье новой, грубой расы — утѣшат ли они в гибели того, что мы всѣ, даже не вѣрующіе в онтологическій смысл этого слова, называли душой Россіи? Эту душу мы ощущали безотчетно в каждой интонаціи родной рѣчи, в том, что просвѣчивало сквозь тѣлесно-зримую оболочку русскаго этнографическаго типа и, сопоставляя это «безотчетное» съ тѣм, что мы считали самым подлинным, самым русским в нашей культурѣ, мы спокойно констатировали их тождество. Народ и его культура были единым. Народ творил культуру.

Не трудно видѣть, что и эта культура и душа этого народа были существенно христіанскими. Вся русская литература XIX вѣка, в основном своем руслѣ, да и почти во всѣх своих побѣгах, — была, по крайней мѣрѣ в этическом смыслѣ, христіанской. Для Запада это бросалось в глаза с полной ясностью: та любовь и состраданіе, та жертва и нисхожденіе, в которых иностранцы видят лабос русской литературы, безспорно принадлежат к христіанскому наслѣдію в уже дехристіанизированной культурной средѣ. Можно уточнить и дальше и признать не только христіанскій, но и восточно-православный характер этой культуры. Признать родство русской интеллигенціи, даже в безбожном ея станѣ (а, может быть, особенно в безбожном), с типом древне-русской религіозности. Подвижники, юродивые, страстотерпцы обернулись опрощенцами, народниками, мучениками за волю и счастье народа. Хотя отступничество от имени Христа не прошло и для них даром. Мрачныя тѣни легли на иконописные лики безбожных праведников. Искаженіе, потом разложеніе христіанской души уже начиналось — в діалектикѣ революціи.

В большевизмѣ этот процесс разложенія закончился. Ему удалось воспитать поколѣніе, для котораго уже нѣтъ цѣнности человѣческой души — ни своей, ни чужой. Убить человѣка —

все равно, что раздавить клопа. Любовь — служба животных, чистота — смѣшной вздор, истина — классовый или партійный утилитаризм. Когда схлынет волна революціоннаго коллективизма, эта «мораль» станет на службу личнаго эгоизма. Французская революція была не менѣ грандіозной, планетарной, эскагологической. Но когда волны ея потопа вошли в берега, на дехристіанизированной землѣ поднялся и процвѣл мѣщанин — расчетливый и скопидомный стяжатель. Судьба обезбоженной Россіи будет ли иной? Если чисто буржуазное мѣщанство в наш вѣк как будто невозможно, то остаются другія формы: мѣщанство огосударствленное, мѣщанство смѣшанное, — наконец, мѣщанство социалистическое. Но и мѣщанство не послѣдняя ступень человѣческаго паденія. Человѣкъ без Бога не может остаться человѣком. Обезбоженный человѣкъ становится звѣрем — в борьбѣ — или домашним животным — в укрощенной цивилизаціи.

Культура — эти сгустки накопленных цѣнностей — замедляет процесс бестіализаціи обезбоженнаго человѣка, задерживая его в этических, эстетических планах человѣческой душевности. Вот почему слабость культурной прослойки в русской жизни безпощадно оголяет звѣря. Прошедшій через революцію русскій человѣкъ быстро теряет не только національное, но и человѣческое лицо.

Но если это так, то возстановленіе Россіи, мыслимой, как національное и культурное единство, невозможно без возстановленія в ней христіанства, без возвращенія ея к христіанству, как основѣ ея душевно-духовнаго міра. При всякой иной — даже христіанской, но не православной — религіи, это будет уже не Россія. Без религіи — это не нація, а человѣческое мѣсиво, глина, из которой можно лѣпить все, что угодно, камень, дерево, металл, который можно дробить на какія угодно части. Имена Евразіи, Восточно-Европейскаго государства и т. п. уже указывают возможныя формы ея гибели.

Это новое крещеніе Россіи, конечно, может совершиться только силами ея христіанскаго остатка. Он существует. Мы не только вѣрим в него, но и знаем о нем. Он носит в себѣ образ и форму будущей Россіи — если ей суждено возродиться.

Если? — Возможно ли здесь сомнѣніе? Не преступно ли ~~слово~~ сомнѣніе?

Есть два рода сомнѣнія. Одно разлагает, убивает мужество, зовет к бездѣйствію. Иное — сомнѣніе борца. В сущности — не сомнѣніе, а сознание опасности, которое заставляет на-  
пречь всѣ силы в борьбѣ за безцѣнное благо, поставленное на карту. В борьбѣ, напротив, безопасность, наивная увѣренность в успѣхѣ является нерѣдко источником поражений. Римскій сенат когда-то благодарил консула, легкомысленно погубившаго свое войско в сраженіи с Ганнибалом: «Варрон не отчаялся в спасеніи отечества». Среди обуревающаго многих безвѣрія и пессимизма хочется привѣтствовать вѣру в Россію пореволюціоннаго поколѣнія. Бѣда лишь в том, что борьба наша не с внѣшним, а с внутренним, прежде всего духовным врагом. Презирать его — значит открыть ему двери. Читая страницы нѣкоторых наших мессіанистов, нельзя отдѣлаться от ощущенія, что Ганнибал не у ворот, а в стѣнах города.

В недавно вышедшем романѣ Таманина «Отечество» автор сводит религіозные счеты с Россіей. Его герой, пройдя сквозь муки первых большевистских лѣтъ, приходит к религіозному просвѣтленію и вмѣстѣ с тѣм к преодолѣнію своего природнаго, натуральнаго націонализма. В этом я готов видѣть положительный смысл идеологическаго романа. Зато страшным и религіозно необоснованным мнѣ представляется его разрыв с Россіей: «Не знаю, откуда это чувство, даже почти увѣренность, — что она погибла... Не строй погиб, а страна, русская нація». И еще: «Наших мученій ни одно государственное устройство уже не стоит. А родина стоит ли? Когда-то от обольщенія родиной погиб цѣлый народ. И перед нами то же, как во дни Тиверіа: опять страшный выбор между родиной и Богом сдѣлать надо».

Не знаю, какое право имѣет автор (хотя бы устами героя), говорить о совершившейся гибели Россіи. К тому же слова эти относятся к тѣм годам, когда сопротивление Россіи коммунистическому носило героическія формы: в военной борьбѣ и христіанском мученичествѣ и мужественном сопротивленіи большей и лучшей части интеллигенціи. С тѣх пор многое измѣнилось — к худшему. Сжался, порѣдѣл вѣрный остаток... И все же, пока он существует, пока духовная борьба за душу Россіи не прекра-

тилась, мы не можем говорить о гибели Россіи. Таманин скавал громко лишь то, что про себя шепчут многіе в эмиграціи: оттого и бѣгут в иностранное подданство, в католичество, в чужую жизнь.

Честь молодежи, которая не поддалась малодушію и, наперекор всему, не потеряла вѣру в Россію. Однако и ей есть к чему прислушаться в словах Таманинскаго героя. Выбор между родиной и Богом все-таки нужно сдѣлать. Хотя бы для того, чтобы возстановить истинную іерархію цѣнностей, — чтобы не в одном духѣ и смыслѣ произносить соблазнительныя слова: «за вѣру и отечество» (для других еще и «царя»).

Христос требует жертвы, — самым дорогим и священным, что есть у человѣка: отцом и матерью, слѣдовательно, и родиной. Так как Он есть вѣчная жизнь то ничто живое в Нем не погибает. Он вернет человѣку мать и отца, вернет и родину, но вернет иными, для иной, болѣе чистой любви. Любовь во Христѣ есть любовь к идеальному образу любимаго лица. Она не исключает и плотской теплоты и служенія цѣлостному душевно-тѣлесному существу, но она подчиняет все низшее, хотя бы и оправданное, хотя бы и прекрасное, духовному образу. Христіанская любовь к родинѣ не может ставить высшей цѣлью служеніе ея интересам и ея могуществу — но ея духовный рост, творчество, просвѣтленіе, святость.

Впрочем все это охотно признается современным мессіанством. Вѣдь, и для него высшее — духовное призваніе Россіи — благая вѣсть, которую она несет міру. Соблазн русскаго мессіанства в другом: прежде всего, в гордости своего призванія.

Гордость призванія! И какого призванія... Как будто такое призваніе можно носить легко и удобно, как хорошо сшитое платье. Такое призваніе, если только помнить о нем, — жерновом ляжет на плечи, бросит крестом на землю, пронзит сердце кровотокающей раной. Вѣдь, дѣло идет не о чем ином, как о спасеніи міра. Для христіанскаго сознанія только жертва имѣет спасительное значеніе. И так как эта жертва принесена раз навсегда за весь мір, то спасеніе теперь может означать лишь принятіе этой Голгофской жертвы, лишь соучастіе в ней. Так правильно понял свое призваніе польскій мессіанизм, основав-

ший свою вѣру в Мессію-Польшу на безвѣрности ея страданій и ея вѣры.

Я думаю, что и польскій мессіанизм был неправ. Ибо в христіанском мірѣ не может быть народов-мессій, спасающих челоѣчество. Каждый народ, спасая себя, участвует в общем спасеніи — имѣет свое, хотя и неравное по дарам и значенію, призваніе — миссію. Но, если когда-нибудь был мессіанизм относительно оправданный, то это мессіанизм польскій.

Русскому мессіанизму всегда не хватало одного из двух существенных моментов, или страданія (в прошлом), или вѣрности (в настоящем). Впрочем, русскіе славянофилы, с присущим им религіозным тактом, никогда не говорили о мессіанизмѣ Россіи. Однако, многое из этой польско-католической идеи переносилось ими на Россію. Россія, спасающая мір, — такова была их эсхатологическая утопія. Христіанская неправда ея была в том, что Россія мыслилась ими во всеоружіи своей государственной мощи и славы. Жертвенное спасеніе подмѣнялось имперіализмом Кесаря. Младшее поколѣніе славянофилов стало жертвой этого грубаго нехристіанскаго соблазна и этим сорвало дѣло православнаго возрожденія в Россіи. Достоевскій-публицист именно здѣсь предаёт художника-провидца.

С тѣх пор утекли океаны воды. Совершилось, — вѣрнѣе об-нажились во-очію — религіозное отступничество Россіи. Когда-то один из самых чутких глашатаев нашего христіанскаго возрожденія вопрошал Россію:

Каким ты хочешь быть Востоком,  
Востоком Ксеркса иль Христа?

Уже поколѣніе Александра III дало на этот вопрос ясный, хотя и бессознательный отвѣт. Идеал правды был принесен в жертву слаѣ и мощи. Стилизованный по-православному Ксеркс стал идеалом православнаго царя и всего русскаго мнимо-христіанскаго націонализма. Отступничество революціи было предвосхищено давно — Леонтьевым и Данилевским. Большевизм, сорвав всѣ маски, стронг Россію Ксеркса.

Если трудно издали видѣть Россію, судить о происходящих в ней соціальных и культурных процессах, то еще труднѣе су-

дять о совершающемся в ея духовной глубинѣ. Во всяком случаѣ, нѣтъ ничего, что бы оправдывало безответственное иго-ваніе. Кричать сейчас о побѣдѣ христіанства в Россіи — все равно что затягивать свадебную пѣсню на похорнах. Правая, активная, молодая Россія, насчитывающая во всяком случаѣ миллионы... глоток, гонит христіанство с яростью одержимаго. Горсти мучеников умирает в каторжных тюрьмах и ссылкѣ. Масса не поднимается на защиту ея вчерашних святыхъ. Звѣрняя борьба за жизнь поглощает ее всецѣло. Трудно судить, осягнется ли еще уголок в ея душѣ, доступный нездѣшнему Слову. Может-быть, еще как вздох о невозвратном, утраченном и невозможном...

Как бы ни оцѣнивать силы борющихся сторон, ясно одно. Сейчас происходит отчаянная борьба за душу Россіи и ея духовную судьбу. Сколько праведников спасают Содомъ? Кто сочтет? В руках архангела повисли вѣсы над бездною, и чашка их колеблется под тяжестью бѣдных челоѣческих душ. Таково должно быть наше воспріятіе совершающагося. Это страшно. Это страшнѣе, чѣм у постели тяжело больного в час кризиса. И в этот час — молчанія и молитвы — кощунственна осанна іерехонских труб, неумѣстны торжественные гимны на тему: «С нами Бог! Разумѣйте, языци, и покоряйтесь»...

Если же не молчаніе, а слово, то о чем? Какое слово может быть религіозно дѣйствительно, может помочь спасительному выходу из кризиса? Только одно: вѣчное слово о покаяніи.

Покаяніе — раскаяніе и отвращеніе к себѣ («и трепещу и про-клинаяю»), ненависть к прошлому, черта, рубеж, удар ножа, — новое рожденіе, новая жизнь... *Incipit vita nova.*

Почему Россія — христіанская Россія — забыла о покаяніи? Я говорю о покаяніи національном, конечно. Было ли когда-нибудь христіанское поколѣніе, христіанскій народ, который, перед лицом исторических катастроф, не видѣл в них карающей руки, не сводил бы счеты со своей совѣстью. На другой день послѣ татарскаго погрома, русскіе проповѣдники и книжники, оплакивая погибшую Русь, обличали ея грѣхи... Жозеф де-Мэстр видѣл в революціи суд Божій. А в православной Россіи не нашлось пророческаго обличающаго голоса, который показал бы нашу вину в нашей гибели. Это безчувствіе національной

совѣсти само по себѣ является самым сильным симптомом болѣзни. Пореволуціонные націоналисты в этом отношеніи, как двѣ капли воды, похожи на своих отцов: націоналистов школы Александра III. Если от послѣдних христіанская совѣсть требует покаянія в грѣхах старой Россіи, то от первых, стоящих на почвѣ революціи, требуется покаяніе в ея грѣхах. Каково должно быть пореволуціонное христіанское сознание? Оно прежде всего исполнено ужаса перед революціей, как своим грѣхом, грѣхом своего народа, и стремленія начать новую жизнь, чистую от кровавых воспоминаній, хотя и на почвѣ, политой кровью, в условіях, созданных революціей.

Вмѣсто этого христіане говорят о переключеніи революціонной энергіи. Это значит: та ярость, та одержимость злобы, которая сегодня направлены на построеніе классового и безбожнаго Интернаціонала, завтра будут направлены на созиданіе національной и православной Россіи. Какой кошмар! Рука, убивающая сегодня кулаков и буржуев, завтра будет убивать евреев и инородцев. А черная человѣческая душа останется такой же, как была: нѣтъ, станет еще чернѣе...

Я знаю, что ничего такого не хотят пореволуціонные христіане. Но, не требуя покаянія, но, преклоняясь перед разливом революціонных стихій, такое будущее они готовят. Самое страшное, что в этой перспективѣ нѣтъ ничего невозможнаго. Ненависть, больная и ослѣпляющая, как и манія преслѣдованія, легко могут измѣнять свой объект. Народ, который за нѣсколько лѣтъ до революціи избивал социалистов, стал избивать буржуев, — оставшись в сущности самим собой. Если отвлечься от религіозной темы, то переключеніе революціонной энергіи в национальную — самое обыкновенное явленіе. Наполеон вырастает из Дантона, как Муссолини из Гарибальди. Только никакими переключеніями зла нельзя получить ни скрупула добра. Оцерковленное, оправославленное зло гораздо страшнѣе открытаго анти-христіанства.

Безконечно тяжело, что наше національное возрожденіе хотят начинать, вмѣсто плача Іереміи, с гордой проповѣди Филовея. Бѣдный старец Филовей, который уже раз отравил русское религіозное сознание хмелем національной гордыни. Поколѣніе Филовея, гордое даровым, незаработанным наслѣдіем Византіи,

подмѣнило идею русской Церкви («святой Руси»), идеей православнаго царства. Оно задушило ростки свободной мистической жизни (традицію преп. Сергія — Нила Сорскаго) и на крошечных обломках (опричнина) старой, свободной Руси построило могучее восточное царство, в котором было больше татарскаго, чѣм греческаго. А между тѣм Филовей был объективно прав: Русь была призвана к пріятію византійскаго наслѣдства. Но она должна была сдѣлать себя достойной его. Отрекаясь от византійской культуры (замучили Максима Грека!), варварская рука схватилась за двуглаваго орла. Величайшая в мірѣ имперія была создана. Только наполнялась она уже не христіанским культурным содержанием.

Трижды отрекалась Русь от своего древняго идеала святости, каждый раз обѣдняя и уродуя свою христіанскую личность. Первое отступничество — с поколѣніем Филовея, второе — с Петром, третье — с Лениным. И все же она сохраняла подспудно свою вѣрность — тому Христу, в котораго она крестилась вмѣстѣ с Борисом и Глѣбом — страстотерпцами, которому она молилась с кротким Сергіем. Лампада преп. Сергія, о которой говорил Ключевскій, еще теплилась до наших дней. И вот теперь, когда всей тучѣ большевистских бѣсов не удалось задуть ея, вызывают, как Вія, из гроба старца Филовея: не задует ли он?

Будем вѣрить, что не задует, и что из всѣх блужданій и блуда, освобожденная от семи бѣсов, Россія, как Магдалина, вернется к ногам навсегда возлюбленнаго ею Христа.

Г. Федотов.

## Любовь по Марксу

Можно спорить о технических достижениях пятилѣтки и о значительности той научной, прежде всего научно-технической работы, что ведется во вновь оборудованных совѣтскою властью институтах, но об одном спорить нельзя — нельзя спорить о том, что, страстно стремясь к насажденію в Россіи европейской цивилизации, большевики безбожно уродуют духовный облик русской культуры. Богословская и философская мысль, гуманитарныя науки и художественное творчество (в особенности живопись) возвращены в первобытное состояніе. Вся Россія похожа на приготовительный класс, в котором дѣти хором учат азбуку: — азбуку Бухарина. Ряд выстраданных крупных философских и художественных достижений не в счет. С точки зрѣнія большевицкой власти они являются результатами идеологически-административнаго недосмотра, — и только.

Этот жуткій разгром культуры связывается, как самими большевиками (которым он представляется творчеством), так и их противниками с именем Маркса. Сомнѣваться в реальности этой связи не приходится — она очевидна; но не задуматься над ней нельзя.

Маркс отнюдь не был элементарным цивилизатором и грубым материалистом. Вопреки мнѣнію большинства его поклонников и врагов, он никогда не отрицал роли сознанія и воли в исторіи; всегда учитывал значеніе «воспоминаній», «вѣрова-ній», «иллюзій», «убѣжденій». Смысл діалектическаго материализма не в отрицаніи значенія личности в исторіи, а в утвержденіи, что это значеніе находится в прямой зависимости от готовности человѣка к подчиненію господствующим в мірѣ законам. В сущности, неоспоримо вѣрная и, если отвлечься от вопроса о природѣ верховных законов (Маркс считал верховными законами — законы эконоимики), даже и религиозная мысль, что личное творчество возможно только на почвѣ послушанія сверхличным силам и реальностям.

Но не только историко-философская система Маркса не вяжется, на первый взгляд по крайней мѣрѣ, с тѣм, что дѣлается сейчас в Россіи, не вяжется с большевицким міром и весь духовный облик основателя научнаго социализма. Маркс был одним из самых многосторонних и культурных людей своего времени. Блестящій знаток философіи, исторіи и политической экономіи, перерывшій всѣ библиотечныя сокровища Британскаго Музея, он всѣ часы досуга и усталости посвящал чтенію античных классиков и занятіям высшею математикой. Один из послѣдних біографов Маркса так и характеризует его, как утонченнаго гурмана культуры. Характеристика эта, конечно, преувеличена, но все же она правильно указывает на несовинность Маркса в цивилизаторском варварствѣ, на его внутреннюю чуждость всякому культурному упрощенству.

Но если так, то чѣм же объяснить, что именем творца научнаго социализма не только прикрывается, но и подлинно творится тот разгром культуры, что вот уже много лѣт буйствует в Россіи?

Подробный отвѣтъ на этот вопрос не может входить в задачу настоящей статьи. Из безчисленнаго количества заключающихся в нем проблем я хотѣл бы выдѣлить только одну, наиболѣе важную для пониманія того страшнаго, смраднаго и страдальческаго пути, которым большевики сразу же повели и все еще ведут русскую молодежь в царство новой «социалистической жизни», новой морали и новой любви. Такою главною проблемой представляется мнѣ отношеніе Маркса к той особой реальности, которую человечество уже вѣками именует **духом**.

Учитель Маркса, Гегель еще имѣл опыт духа, твердо вѣрил в дух и мыслил всѣ происходящіе в мірѣ процессы, как процессы саморазвитія духа. Под духом же он понимал в концѣ концов Бога, но не обычнаго Бога простодушнаго религиознаго сознанія, а Бога, как бы пропушеннаго сквозь сложный критическій аппарат философскаго мышленія. Об отношеніи Бога и духа у Гегеля можно долго спорить. Но как бы ни истолковывать взаимоотношенія обоих начал, одно ясно: — что у Гегеля временно-пространственный, душевной-тѣлесный и при-

родно-исторический мир живет и дышит не в силу присущих ему самому сил, а волею высшего начала.

Во многом (главным образом в признании метода диалектики) оставшись навсегда учеником Гегеля, Маркс с первых же шагов своего философствования «заявил протест» против гегелевского духовѣрчества. Говоря производственным языком Советской Россіи, можно считать главною философскою мыслью Маркса мысль о перенесеніи силовой станиці исторіи, производящей в сѣ виды энергіи, как грубо-физической, так и утонченно-психической, из заоблачных высот на землю.

Ничего новаго и оригинальнаго в этом положеніи Маркса нѣтъ. В своей духоборческой философіи он всего лишь возвращается к тѣм англійским и французским мыслителям, которые в борьбѣ против остатков религіозно-метафизических построеній, еще присутствующих почти во всѣх крупных философских системах XVIII вѣка, впервые кладут почин (1760-1780) чисто эмпирическому изученію географических, технологических и главным образом экономических основ человѣческаго обществѣ.

Знаменитое положеніе Маркса, сформулированное им впервые в «Критикѣ политической экономіи» и сводящееся к утвержденію, что «производственныя формы опредѣляют собою социальныя, политическія и духовныя процессы жизни», является лишь наиболѣе радикальной формулировкой преодолѣнных в нѣмецком идеализмѣ просвѣщенских теорій XVIII вѣка.

Признаніе социологическаго подхода к явленіям духовной культуры не может быть никому выѣнено в обязанность, но, если его уже признавать (как его признают марксисты), то, не будучи предвзятым марксистом, нельзя не видѣть, что философски-социологическая система Маркса и по своим истокам, и по своей сущности является классическим выраженіем духа буржуазной цивилизаціи и буржуазной культуры. Отрицаніе Бога и духа, идолопоклончество перед наукой и прогрессом, положеніе экономки в основу социально-политических процессов жизни и цѣлый ряд других положеній, характерных для буржуазной вѣры в абсолютную, «в себѣ самой покоющуюся здѣшность» жизни и міра —

являются, по признанію самих же большевиков, «забронированным инвентарем» и марксистскаго міросозерцанія.

Представляя собою систему типично буржуазнаго пониманія міра, марксизм по своим практически-политическим задачам является, однако, непримиримым врагом буржуазной цивилизаціи и культуры. Эту «неувязкою» теоретическаго сознанія и практической воли объясняется безсиліе пролетарскаго творчества. В Европѣ, особенно в Германіи, гдѣ послѣ революціи 1919 года социал-демократія пришла к власти, пролетаріат не произнес не только ни одного новаго, но даже и просто своего слова. В лицѣ своих лучших представителей он оказался в отношеніи буржуазной культуры в положеніи Толстого, отрицавшаго Бетховена, плакавшаго над Бетховеном и считавшаго свои старческія слезы за грѣх; или — болѣе близкій примѣр — в положеніи самого Маркса, ненавидѣвшаго «рабскую» основу всѣх допролетарских культур и самозабавно увлекавшагося Эсхилом, Сервантесом, Шекспиром и другими гениями «доисторической» эпохи. Анкета, произведенная среди элиты марксистской пролетарской молодежи, также показала, что Гете, Шиллер, Толстой и даже архибуржуазный Фрейд читаются в кругах этой молодежи больше, чѣм Маркс, Достоевскій, Горькій, Дюма, Гауптман — больше, чѣм Бебель и Энгельс, и, что самое удивительное, — Ленин не больше, чѣм Ницше.

Большевики этим путем «включенія» пролетаріата в буржуазную культуру пойти не захотѣли, да и по всей своей сущности и некультурности русских масс — пойти и не могли. Их положительное отношеніе к культурным цѣнностям прежней Россіи сразу же опредѣлилось, как стремленіе подсмотрѣть выѣшніе приемы великих мастеров прошлаго, чтобы догнать и перегнать их на своем пролетарском пути. Но тут то и оказалось, что никакого своего пути у пролетарской культуры нѣтъ, что нетерпѣливое, волевое утвержденіе его приводит не столько к разгрому буржуазной культуры, сколько к разгрому культуры вообще. Особенно ясно можно эту подмѣну прослѣдить в той сферѣ, которой большевики всегда удѣляли очень много вниманія: в сферѣ сознанія новой общественной морали и новой личной нравственности.

Советская публицистика, советские анкеты, общественные дискуссии, но главным образом советская литература обнаруживают с полной очевидностью, что, нанеся свою борьбу за новую мораль непоправимые удары всякой морали, большевики не только не вырвали «с корнем» из русской жизни всех «буржуазных мерзостей», но, наоборот, довели расцвет этих мерзостей до небывалых размеров. Больше, чем в какой-либо другой сфере, сказалась здесь полная невозможность творческого обновления жизни на основе злостного и самоуверенного отрицания ее духовных основ. Я хочу проследить эту невозможность в сфере тех путаных любовных отношений, что сложились в Советской России.

Проблема семьи и свободной любви бесконечно сложна. Установить, что по праву можно называть буржуазной любовью и буржуазной семьей гораздо труднее, чем то представляется советским социологам и педагогам. Ясно только одно: установление «буржуазного» отношения к женщине, буржуазного понимания любви и семьи должно исходить из тех основных перемены, которые просвещенная мысль и буржуазное (третье-сословное) общество внесли в добуржуазное (средневековое) понимание этих вопросов.

Религиозно-социальная мысль христианского средневековья аскетична: высшее назначение женщины — монастырь. Вне монастыря — брак, понимаемый еще со времен блаженного Августина, как таинство. Этому «закрепощению» женщины Богу и церкви наносит первый удар Лютер, лишаящий брак его сакраментального характера. Мыслители эпохи просвещения идут по путям протестантизма еще дальше. Для них брак является «свободным договором» изначально равных существ. Результатом этого уравнения является введение гражданского брака в конце XVIII и начале XIX столетий. «Буржуазная» мысль однако не успокаивается: под влиянием целого ряда обстоятельств, связанных с мощным развитием капитализма, к концу XIX века в Европе возникает так называемый женский вопрос и вырастает женское движение, быстро преуспевающее в

своей борьбе за экономическое, социальное и политическое закрепощение женщины. Этот свершающийся под влиянием «буржуазной» мысли и в недрах «буржуазного» общества процесс осложняется целым рядом других сопутствующих процессов. Самым ценным из них является возникающий в романтике новый культ «свободной» эротике, принципиально отличающейся от сексуальности, и углубленное психологическое понимание, и художественное изображение женской души и любви в европейском романе и музыке XIX столетия. Наряду с этим положительным процессом развивается и отрицательный: — рост проституции в больших промышленных городах.

Таково в самых кратких чертах сложное единство буржуазного понимания и осуществления любви, семьи и социальной эмансипации.

Для советской пропаганды большевистского социализма характерно прежде всего то, что она это единство совершенно произвольно разлагает на «буржуазную» любовь, будто бы удушающую женщину в семье и растлывающую ее в более или менее утонченной или грубой проституции, и на социалистическую борьбу за всеобщее освобождение человека в женщине и женщины в обществе.

Для того, чтобы выяснить себе истинную природу происходящих в Советской России социально-психологических процессов, надо прежде всего отчетливо установить, что идея освобождения женщины, как вообще все идеи свободы, является типично буржуазной идеей. Социалистическая борьба за освобождение женщины явилась в Европе всего лишь дополнением и расширением буржуазной борьбы. Конечно, она внесла в нее свои специфические черты, по новому связала ее с борьбой рабочего класса против капитала, вынудила у работодателей и у государства большие уступки в направлении ограждения женского фабричного труда, улучшения жилищных условий и т. д., но никакого принципиально нового идеала женщины, по новому свободной в любви, браке и на общественной работе, не создала. Чтобы убедиться, до чего, в сущности, буржуазна «новая социалистическая мораль», достаточно прочесть выпущенную Международной Рабочей Библиотекой (и очень распространенную в Германии) брошюру Коллонтай:

«Die neue Moral und die Arbeiterklasse». Среди провозвѣстников и изобразителей новой морали Коллонтай между прочим называет: Карла Гауптмана, Зудермана, Мейзель-Гессе, Коллет-Ивер, Щепкину-Куперник, Потапенко, Винниченко, Генриха Манна, Нагродскую и т. д., и т. д. Если такіе второсортные и третьесортные буржуа могли создавать и воплощать облики новой морали и новой любви, то вряд ли можно сомнѣваться в отсутствіи чего бы то ни было подлинно новаго в социалистическом замыслѣ новой свободной женщины. Каждый, знающій Европу, согласится, что такого новаго замысла в рядах европейскаго пролетаріата искать, дѣйствительно, не приходится. Европейскіе социалисты психологически добрые буржуа и притом далеко не всегда передовые по своим нравственным и общественным воззрѣніям.

Но если так, если тему освобожденія женщины нужно считать не столько социалистической, сколько буржуазной темой, то в чем же тогда заключается тот новый принцип, который безусловно чувствуется и в сверхъевропейском радикализмѣ совѣтскаго брачнаго законодательства и в тѣх новых формах взаимоотношенія полов, что, выработавшись в Совѣтской Россіи, отразились в совѣтской литературѣ?

Думается, что двух отвѣтов на поставленный вопрос быть не может. Стимул совѣтскаго брачнаго законодательства и пафос партійной любовной проповѣди заключается не в стремленіи к освобожденію любви, как таковой, а в ея новом, небывалом закрѣпощеніи коммунистической государственности, выдаваемой за совѣтскую общественность. Только такое пониманіе происходящих в Россіи процессов сводит их к единому знаменателю и дѣйствительно объясняет их. В этом насильническом закрѣпощеніи освобожденной было в буржуазной культурѣ любви надо искать объясненіе всѣм тѣм явленіям, что заставили Ленина, никогда не бывшаго, по его собственному свидѣтельству, «мрачным аскетом», приравнять (в разговорѣ с Кларой Цеткин) так называемую новую половую жизнь совѣтской молодежи и нѣкоторых старичков к тому, что всегда происходит в самых обыкновенных и архибуржуазных домах терпимости.

На первый взгляд, такое утвержденіе может показаться па-

радоксальным и невѣрным. Прежде всего на том основаніи, что совѣтская власть не ограничилась по примѣру Запада «расцерковленіем брака», но в своем постановленіи от 1-го января 1927 года пошла гораздо дальше: провозгласила, по выраженію Генриха Фрейда,<sup>1)</sup> «полное разгосударствленіе брачных отношеній», создав таким образом, наряду с церковным и гражданским браками, еще третій вид законнаго, хотя и неизвѣстно чѣм отличающагося от случайной и кратковременной связи «фактическаго брака». Профессор Маклецов указывает в своей обстоятельной статьѣ на то, что этот институт фактическаго брака (его достаточными для судопроизводства признаками служат: факт сожителства, общая квартира, взаимная матеріальная поддержка, совмѣстное воспитаніе дѣтей и т. д.) вызвал страшную путаницу всѣх понятій, легализовав в концѣ концов (по свидѣтельству совѣтских юристов) не только полигамію, но, с точки зрѣнія мертвой буквы закона, даже и кровосмѣшеніе.<sup>2)</sup>

Все это безспорно вѣрно: не подлежит ни малѣйшему сомнѣнію, что установленіем института «фактическаго» брака и упорною проповѣдью абсолютной свободы любви совѣтская власть создала и для себя самой непроницаемый мрак в сферѣ любовных взаимоотношеній своих граждан. И все же это государственное насажденіе хаоса не есть безсиліе власти, а только своеобразная форма утвержденія своей силы и насажденіе своих принципов в душах русских людей и прежде всего молодежи.

Громадный опыт католической церкви неоспоримо доказывает, что семья, как духовно-душевная связь и как хозяйственно-бытовой факт, весьма затрудняет для власти и духовное водительство и политическое господство. Историки католицизма согласно указывают (на ряду с духовными причинами, которых я не касаюсь) и на эти социологическія основы безбрачія католическаго духовенства. Создать обязательное безбрачіе для своих верховных руководителей и низовых аппаратчиков коммунисты, конечно, не могли. И они инстинктивно пошли

1) Cf. Die Zivilgesetze der Gegenwart. B. IV. Abteilung I. Ers. Lieferung: das Familienrecht der Sowjetrepublik, Prof. Dr. H. Freud.

2) Maklezow. Ehe und Familie in Sowjetrussland. Hochland.

другим путем, путем поголовного насаждения безответственной холостой психологии не только среди партийцев, но, по возможности, и среди всех граждан С.С.С.Р. Холостого человека и с партией и с клубом связать легче, чем женатого. Его легче переместить в аппарат, легче перебросить из Крыма в Сибирь и обратно. Семья неизбежно усиливает бытовые корни, «засасывает» человека в сферу его личных интересов. Она создает тяжелые любовные конфликты верности и ревности, часто безразсудно и безприбыльно растрчивает работоспособность и нервы своих членов. Советской же власти при ее гигантомании (строить новый мир!) работоспособность и нервы каждого человека нужны целиком, обязательно на все сто процентов. Отсюда и выработался принцип уничтожения всякого «непродуктивного перетирания» человеческой души на жерновах мещанского семейного уклада. Живи как хочешь, только живи так, чтобы не было слишком большой утечки общественно нужной энергии в частную жизнь. Если хочешь, сделаем выкидыш; если хочешь — воспитаем ребенка в государственных институтах. Вся ответственность — чисто внешняя: плати алименты. Если платишь, чист, как стеклышко. За страдания же того, кого, быть может, вверг в смертное отчаяние и непреодолимую скорбь, ответственности не несешь; такие чувства — мещанство и рабство; ненужная и даже вредная надстройка над голо-природным фактом совокупления в целях деторождения.

Быть может, среди всех творческих заданий и осуществлений большевизма нет ни одного, в котором принципиальное духоборчество большевизма сыграло бы такую страшную роль, как в достижениях на «любовном фронте». О потрясающих размерах этих достижений ничто не свидетельствует с такою силою, как произведенный Гельманом среди учащейся пролетарской молодежи и опубликованный им еще в 1923 году анкета.<sup>3)</sup> Все ответы исходят из самоочевидного положения, что у молодого коммуниста и сочувствующего не может быть другой жизненной задачи, кроме как отдачи всех своих сил в распоряжение партии и социалистического строитель-

<sup>3)</sup> Гельман. Половая жизнь современной молодежи. Москва-Ленинград 1923 г.

ства. Но поперек пути этого жертвенного служения становится, как оказывается, любовь, со своими трудностями и сложностями. Эти ненужные трудности и сложности должны быть уничтожены. В качестве способов уничтожения предлагаются самые разные средства: устройство государственных домов свиданий (не имеющих, конечно, ничего общего с буржуазными домами терпимости), где молодые здоровые советские люди могли бы на лету знакомиться и плодиться во славу социализма; требование административного разъяснения «женскому персоналу» о мещанских предрассудках, так как все еще есть «такие сумасшедшие», которым и «хочется», но которые «не хотят» соглашаться. Это мужские предложения. Женские еще того страшнее. Многие студентки жалуются, что «товарищ» в общем еще слишком груб и сур для идейной любви, и что служить социализму легче, если не быть связанной семьей. Ответы предлагают выкидыши, «хотя бы тридцать раз, если понадобится», сожительство с подругами и, «как ни отвратительны такие средства» — онанизм.

Таковы те настроения какого-то совершенно непостижимого идеалистического изуверства, зачастую, вероятно, спутанного с идеологическим лицемерием, которое большевики взрастили не только в новом служилом сословии, но и в безкорыстно, идейно преданной им молодежи.

В связи с брачным законодательством Советов находится и их культурно-политическая проповедь. Во все времена искусство и в частности литература были тесно связаны с любовью, с ее восторгами и муками. Благодаря этой связи, жизнь в искусстве всегда дорого обходилась человеку и человечеству. Когда-то А. Бэлый в статье «Против музыки» писал, что музыка размагничивает человека; что, исходя в кресле партера волнением о Бетховеня, мы растрчиваем отпущенный нам для строительства жизни запас душевной энергии. Литературная политика коммунистической партии целиком построена на вульгаризации этой мысли. «Лирическая музыка, лирическая поэзия, сладострастно обнажающая человеческое гь-

ло живопись и пластика, все это роды искусства, которые бо-  
роющемуся революционному пролетариату не нужны». Не нуж-  
ны потому, что они засасывают человека; на время по крайней  
мере дают ему возможность жить в любом мире; социалистам  
же нужно строить новый мир. Для этого построения необходи-  
мо переключение эротической энергии на социально-строитель-  
ную. Методами такого переключения являются, во-первых, ра-  
сторжение связи искусства с его верховной темой, с темой  
любви и смерти, а, во-вторых, создание новой связи между искус-  
ством и социально-политическим строительством. Стремясь на  
пути особо грехоудобного брачного законодательства создать  
среди всех женатых и замужних — церковным ли, граждан-  
ским ли браком, все равно, специфически холостую психоло-  
гию, большевики на путях государственного руководства лите-  
ратурой сознательно стремятся к наивозможно большей депо-  
этизации любви, к ее метафизическому, психологическому и  
эстетическому удешевлению. Не то, чтобы они сводили ее к  
простому биологическому факту; они пытаются даже одухот-  
ворить «половой акт», но его духом является у них не лю-  
бовь, а социализм. Это парадоксальнейшее, хотя в истории рус-  
ской общественной мысли не новое положение особенно на-  
глядно вычерчивается в книге Залкина,<sup>4)</sup> который, с одной  
стороны, требует, чтобы половой акт был завершением глубо-  
ких и сложных переживаний, идейно объединяющих любящих  
друг друга, а с другой утверждает, что избраніе любовным  
партнером представителя другого «высшего» класса такая же  
извращенность, как половое влечение к крокодилу или орангу-  
тангу. Сопоставление этих двух положений отчетливо формули-  
рует большевистский догмат о социо-строительном смысле со-  
ветской эротики. Этой двуединой цели — удешевления любви и  
обездушения искусства (на путях борьбы с любовью, как с его  
глубочайшей темой) и служит усиленное и насильственное на-  
саждение социалистического репортажа.

Искусство и любовь защищают свою исконную связь все-  
ми доступными им средствами: и снижением художественного  
уровня подневольно-общественного творчества талантливых

<sup>4)</sup> Залкин. Половой вопрос в условиях советской обществен-  
ности. Ленинград 1926 г.

художников («Соть» — Леонова, «Гидроцентрль» — Шаги-  
нин), и неизничтожимым стремлением к изображению любви да-  
же и второстепенных писателей, которые, казалось бы, могли  
безоговорочно подчиниться социальному заказу социалистиче-  
ского репортажа. Но дело этой защиты подвигается с боль-  
шим трудом. Партия и советская общественность борются с  
ним самыми различными способами: хвалят неудачные произве-  
дения законопослушных авторов, отказавшихся от «буржуазно-  
индивидуалистического ковырянья» в любовных ранах в поль-  
зу изображения успехов советского строительства; уверяют,  
что избличительное изображение ужасов советской любви у  
Лидина, Пантелеймона Романова, Малашкина, Никандрова и  
других является «сплошным фальсификатом», основанным на  
неумении различать процессы «буржуазного догнивания» от  
процессов «пролетарского созидания», и главное — принци-  
пально игнорируя всякий психологический и этический подход к  
вопросам любви, упорно переводят все ее безконечно слож-  
ные вопросы, над которыми всю свою долгую жизнь мучилось  
человеческое сознание, в плоскость элементарно-марксистской  
борьбы против буржуазной переоценки любви, восплаваемой в  
стихах и прозе, окуриваемой поповским ладаном и философ-  
ским фимиамом, заливаемой слезами и шампанским и ведущей к  
сифлису и самоубийству. Очень громкие обличительные слова,  
но по существу и в особенности перед лицом советской дей-  
ствительности — совершенно пустыя. Религиозное и философ-  
ское понимание любви отменил не марксизм, а ненавистный ему  
буржуазный либерализм, превративший любовь в утонченно-  
насладительный и остро-ядовитый, но чисто психологический  
процесс. Сифлис и самоубийства и в России не перевелись. Вся  
разница только в том, что шампанское заменила водка, а «афин-  
ские ночи» с их чисто русским, гитарно-цыганским, плясовым  
и псенным надрывом превратились в бытовое явление среди  
городского, пролетарски-крестьянского молодняка.

Наряду с двумя рассмотренными мною задачами освобож-  
дения женщины из-под гнета буржуазно-собственнической се-

мы и искоренения на нового быта всякой наркотически-глетворной романтики и всяческих упадочных лжепроблем и лжепереживаний, большевики неустанно работают и над третьей задачей, задачей уничтожения проституции. Раздвигать оптимизм советских исследователей достигнутых результатов, конечно, невозможно, и невозможно прежде всего потому, что они не допускают мысли о внутренней связи между исчезновением профессиональной проституции и проституированием советской женщины, благодаря проповедуемой большевизмом новой морали и новой «свободной любви». Но оставляя пока в стороне этот центральный вопрос, нельзя все же не признать, что в сфере борьбы с социально-экономическим злом явной и элементарной проституции — большевики добились положительных результатов. Во всяком случае воля их тут чиста и устремления блага. Насколько они ничего не понимают в вопросах любви и семьи, насколько смущены все их разговоры о свободе и ревности, о товариществе, дружбе и об идеологической основе полового влечения, настолько же серьезны их усилия справиться с проституцией, «недопустимой в государстве трудящихся». Конечно, и в этих устремлениях есть какой-то изувёрский утопизм, но не в пример другим областям советского строительства, скорее комической, чем жуткой. В переписке «проститутки Тани» с наркомздравом Сёмашко на страницах «Рабочей Газеты» и еще больше в шефстве московского профилактория над подмосковным колхозом, учиненном в целях восстановления в падших женщинах чувства собственного достоинства», есть нечто от «Что делать» Чернышевского и от «Бездны» Леонида Андреева. Можно легко себя представить, что думали и говорили старые мужики и бабы, а скорее всего и молодежь, когда в деревню приехали городские дёвки с долечивающими их докторами и собственным оркестром учить мужиков уму-разуму по дороге в социализм. Конечно, это крайности, нелюбимая, смущенная и безтактная, но все же за ними стоит и нечто положительное.

Ф. Б. Галле, родившаяся и выросшая в России, вряд ли большевичка, но явно преданная большевикам попутица, раз-

сказывает в своей обстоятельной книге<sup>51</sup>) о разнице того впечатления, которое она получила от посещения венского и московского профилактория. В Вене прекрасная в большом саду усадьба, комфортабельные помещения, сияющая чистотой кухня, прекрасный гигиеничный стол. В Москве неприспособленное здание, убожество обстановки, нехватка жилплощади. Но зато в Москве — «легкое дыхание» у всех работниц-пациенток и полное отсутствие моралистического чистоплюйства у докторов и персонала. В Вене же безгрешная, благолюбивая сестры, любовно нисходящая к «грешницам». Грешницы все разделены на четыре категории (принцип разделения — степень падения). У каждой категории свой сад: в целях ослабления деморализующего влияния более испорченных на менее испорченных. Уверен, что это описание точно. Чувство, парадоксально сформулированное Леонидом Андреевым: «стыдно быть хорошиим», Европе не понятно. Русскому же сознанию, как религиозному, так и интеллигентскому ясно, что и нравственный капитал — капитал, владесть которым приятно, но кичиться которым перед теми, у кого его нет — стыдно: легко ли в самом деле жить вором или жуликом, пьяницей или проституткой?

Это отсутствие нравственного фарисейства в связи с традиционным в марксистском мышлении слиянием вопроса о раскрепощении женщины с вопросом о победе социализма и да, очевидно, большевикам возможность поставить дело борьбы с профессиональной проституцией на правильную ногу: профилактории в целом ряде городов, обучение бывших проститутток ремеслу и грамоте, обеспечение их в первую очередь заводской работой, периодические съезды воспитанниц профилакториев и т. д. Что вся эта работа ведется большевиками в ложных тонах назойливого идеологизма и рекламного шума, а потому и с громадной утечкой деловой энергии — ясно. Но этой стилистикой пора перестать удивляться. Критиковать большевизм с точки зрения его неспособности к осуществлению поставленных им себе самому целей бессмысленно. Реализуя сегодня 50 процентов своего идеала, он завтра, быть может, сможет осуществить 75 процентов.

<sup>51</sup> F. B. Gallé, W. B... Die Frau in Sowjetrußland. Paul Zsolnay Verlag. 1932.

Стопроцентных же реализаций история не знает. Действительное отрицание большевизма должно потому отрицать его не на основании его неспособности к осуществлению своих заданий, а на основѣ непріемлемости его идеалов. Такая постановка вопроса сразу же возвращает всю проблему к той нерасторжимой связи между успѣшной борьбой с профессиональной проституцией и проституированіем любви, которую сами большевики отрицают, но которая не только существует, но в концѣ концов одна только объясняет их большіе но внѣшніе успѣхи.

Главное, чего не понимают большевики, это то, что основная проблема проституции заключается не в самом фактѣ продажной любви, а в расторженіи той внутренней связи между природной стихіей пола и духовной реальностью любимого лица, которая дѣлает эту продажность возможной. В концѣ концов всякое обезличеніе любви есть уже проституція. Большевиким же весь построен на отрицаніи абсолютнаго значенія личности. Это отрицаніе есть лишь производное от марксистскаго отрицанія духа. На почвѣ этого отрицанія радикальная борьба с проституціей невозможна. Возможно только измѣненіе тѣх ея форм, что были выработаны буржуазно-капиталистической культурой больших городов. Но, вѣдь, дѣло не в этих формах, а в восстановленіи той связи между стихіей безликаго пола и тайною лица, которая всегда утверждалась церковью и которая стала почти совѣм непонятной современному человѣку. Этой основной проблемы любви большевиким даже и краем уха не слышит и в этой его глухотѣ кроется главная причина его творческой немощи во всѣх сферах культуры и жизни.

Маркс был не только знатоком и любителем всѣх подлинно великих твореній «доисторической», «рабской» культуры, он был кромѣ того и образцовым семьянином: мужем и отцом. В его исполненной преданнѣйшей любви и строжайшей вѣрности семейной жизни не было и намек на какую новую мораль. Наоборот, жизнь его в своих безсознательных глубинах явно покоилась на нравственной гениальности еврейскаго чувства семьи и на піэтистическом христіанствѣ, в духѣ кото-

раго была воспитана его жена. Уже стариком он писал, как пріятно ему было посѣтить город, в котором всѣ помнили его Женни, красавицу, королеву всѣх трирских балов.

Над проблемой внутренняго расхожденія Маркса со своим ученіем стоит задуматься и слишком догматическим марксистам и слишком непримиримым противникам его дѣла. Быть может, величайшая бѣда марксизма заключается в том, что Маркс исключил из него тѣ духовныя основы, которыя жили в нем и которыми он сам жил. Включеніем себя в свою систему Маркс мог бы избѣжать той лжи односторонности и примитивности, которыя свойственны всякому, а в особенности совѣтскому марксизму.

Что в своем анализѣ капиталистическаго общества и буржуазной культуры Маркс проявил большую зоркость, не подлежит ни малѣйшему сомнѣнію. В каком-то широчайшем смыслѣ этого слова нынѣ всѣ марксисты. Вся экономическая и социальнo-политическая наука мыслит уже десятки лѣтъ в категориях марксова ученія. Вся борьба пролетаріата за власть питается его духовным и организационным наслѣдіем. Но, будучи блестящим діагностом, Маркс оказался безпомощным терапевтом. Воспитанные на идеях марксизма пролетарскіе вожди и массы превращаются или в послѣдней буржуазной культуры, или, как легко устанавливается анализом большевицкаго опыта, в разрушителей культуры, как таковой. Задача, стоящая перед Россіей, заключается в сочетаніи правды марксовой критики буржуазно-капиталистическаго общества с тѣми началами духа и традиціи, которыя еще жили в нем самом, но которыя он изгнал из своей системы. Начала духа и традиціи суть по существу начала религиозныя. Путь от научнаго социализма ведет поэтому не к религиозному социализму нѣмецкаго образца, представляющему собою смѣсь социальнаго утопизма с религиозным малодушіем, а к религиозному утвержденію правды социализма. Только на этом пути возможно и то обновленіе социальнo-психологических форм любви, брака, семьи и женскаго служенія обществу, над которым тщетно бьется в корнѣ своем буржуазный дух большевицкаго социализма.

Федор Степух.

## Эпос и лирика современной Россіи

— ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ И БОРИС ПАСТЕРНАК —

### I

Если я, говоря о современной поэзии Россіи, ставлю эти два имени рядом, то потому что они рядом стоят. Можно, говоря о современной поэзии Россіи, назвать одно из них, каждое из них без другого — и вся поэзия все-таки будет дана, как в каждом большом поэте, ибо поэзия не дробится ни в поэтах, ни на поэтов, она во всех своих явлениях — одна, одно, в каждом — вся, так же как, по существу, нет поэтов, а есть поэт, один и тот же с начала и до конца міра, сила, окрашивающаяся в цвета данных времен, племен, стран, наречій, лиц, проходящая через ее, силу, несущих, как река, теми или иными берегами, теми или иными небесами, тем или иным дном. (Иначе бы мы никогда не понимали Виллона, котораго понимаем целиком, несмотря даже на чисто физическую непонятность иных слов. Именно возвращаемся в него, как в родную реку).

Итак, если я ставлю Пастернака и Маяковского рядом, ставлю рядом, а не даю их вместе, то не потому, что одного мало, не потому, что один в другом нуждается, другого восполняет, повторяю, каждый полон до краев, и Россія каждым полна (и дана) до краев, и не только Россія, но и сама поэзия, — делаю я это, чтобы дважды явить то, что дай Бог единожды в пятидесятые, здесь же в одно пятилетие дважды явлено природой: цельное полное чудо поэта.

Ставлю я их рядом, потому что они сами в эпоху, во главе угла эпохи, рядом стали и останутся.

Слышу голос: — «Современная поэзия Россіи». «Пастернак-то Пастернак, но как же Маяковский, который в 1928 г...».

Во-первых: когда мы говорим о поэте — дай нам Бог помнить о всех. Второе и обратное: говоря о данном поэте, Маяковском, придется помнить не только о всех, нам непрестанно придется помнить на всех вперед. Эта вакансия: первого в мире поэта масс — так скоро-то не заполнится. И оборачиваться на Маяковского нам, а, может-быть, и нашим внукам, придется не назад, а вперед.

Когда я на каком-нибудь французском литературном собрании слышу все имена кроме Пруста, и на свое невинное удивление: — Et Proust? — Mais Proust est mort, nous parlons des vivants — я каждый раз точно с неба падаю: по какому же признаку устанавливают живость и умерщвляют писателя? Неужели Х. жив, современен и действителен потому, что он может прийти на это собрание, а Марсель Пруст потому, что никогда никуда уже ногами не придет — мертв? Так судить можно только о скороходах.

И в ответ такое добродушное, такое спокойное:

— Где-ж найду

Такого, как я, быстрогого?

Этими своими быстрыми ногами Маяковский ушагал далеко за нашу современность и где-то за каким-то поворотом долго еще нас будет ждать.

Пастернак и Маяковский сверстники. Оба москвичи, Маяковский по росту, а Пастернак и по рождению. Оба в стихи пришли из другого. Маяковский из живописи, Пастернак из музыки. Оба в свое принесли другое: Маяковский «хищный глазом простого столяра», Пастернак — всю несказанность. Оба пришли обогащенные. Оба нашли себя не сразу, оба в стихах нашли себя окончательно. (Попутная мысль: лучше найти себя не сразу в другом, чем в своем. Поплутать в чужом и обрести себя в родном. Так, по крайней мере, обойдешься без «попыток»).

Irrjahre обоих кончились рано. Но к стихам Маяковский пришел еще из Революции и неизвестно из чего больше. Из революционной деятельности. Шестнадцати лет он уже сидел в тюрьме. «Это не заслуга». — Но показатель. Для поэта не заслуга, но для человека показатель. Для этого же поэта — и заслуга: начал с платежа.

Поэтический облик каждого сложился и сказался рано. Маяковский начал с явления себя миру: с показа, с громогласия. Пастернак — но кто скажет начало Пастернака? О нем так долго никто ничего не знал. (Виктор Шкловский, в 1922 году, в беседе: — У него такая хорошая слава: подземная) Маяковский являлся, Пастернак таился. Маяковский себя казал, Пастернак — скрывал. И если теперь у Пастернака имя, то этого так легко могло бы не быть: случайность благоприятного для дарования часа и края: *la carrière ouverte aux talents*, и даже не *ouverte*, а *offerte*, если только — ряд поэтов кормимых, но замалчиваемых — носитель этого дара не иначемыслящий.

У Маяковского же имя было бы всегда, не было бы, а всегда и было. И было, можно сказать, раньше, чем он сам. Ему потом пришлось догонять. С Маяковским произошло так. Этот юноша ощущал в себе силу, какую — не знал, он раскрыл рот и сказал: — Я! — Его спросили: Кто — я? Он ответил: Я: Владимир Маяковский. — А Владимир Маяковский — кто? — Я! — И больше, пока, ничего. А дальше, потом, все. Так и пошло: «Владимир Маяковский, тот, кто: я». Сбывались, но Я в ушах, но желтая кофта в глазах — оставались. (Иные, увы, по сей день ничего другого в нем не увидели и не услышали, но не забыл никто).

Пастернак же... Имя знали, но имя отца: художника Ясной Поляны, пастелиста, создателя женских и детских головок. Я и в 1921 г. встречала отзывы: «Ну, да, Боря Пастернак, сын художника, такой воспитанный мальчик, очень хороший. Он у нас бывал. Так это он пишет стихи? Но он, ведь, кажется, занимался музыкой»... Между живописью отца и собственной отроческой (очень сильной) музыкой Пастернак был затерт, как между сходящимися горами ущелья. Где тут утвердиться третьему, поэту? А за плечами Пастернака было уже три полустанка (начиная с последнего): 1917 г. «Сестра моя Жизнь» (изданная

только в 1922 г.), 1913 г. — «Поверх Барьеров» — и первая, самая ранняя, которой даже я, пишущий, не знаю имени. Чего же спрашивать с остальных? До 1920 г. Пастернака знали те несколько, что видят, как кровь течет, и слышат, как трава растет. О Пастернаке можно сказать словами Рильке:

...die wollten blühen.

Wir wollen dunkel sein und uns bemühen.

Пастернак не хотел славы. Может быть боялся взгляда: повсеместного, непричастного, безпредметного глаза славы. Так Россия должна бережиться Интуризма.

А Маяковский ничего не боялся, стоял и орал, и чем громче орал — тем больше народу слушало, чем больше народу слушало, тем громче орал — пока не доорался до Войны и Мира и многотысячной аудитории Политехнического Музея — а затем и до 150-миллионной площади всей России. (Как про пивца — выпился, так про Маяковского: выорался).

У Пастернака никогда не будет площади. У него будет, и есть уже, множество одиноких. Одинокое множество жаждущих, которых он, уединенный родник, поит. Идут за Маяковским и за Пастернаком, как в неизвестном месте по воду, куда-то по что-то — достоверно, но где? но что? — сущее, ощущую, наугад, каждый своим путем, все врозь, всегда вразброд. На Пастернака, как на ручей, можно встретиться, чтобы вновь разойтись, каждый напившись, каждый умывшись, унося ручей в себя и на себя. На Маяковском же, как на площади, либо дерутся, либо спиваются.

Сколько читателей у Пастернака — столько голов. У Маяковского один читатель — Россия.

В Пастернаке себя не забывают: обрывают и себя и Пастернака, то-есть новый глаз, новый слух.

В Маяковском забывают и себя, и Маяковского.

Маяковского нужно читать всем вместе, чуть ли не хором (ором, собором), во всяком случае вслух и возможно громче, что с каждым читающим и происходит. Всем залом. Всем вком.

Пастернака же нужно всюду носить с собой, как талисман от этих всех, хором орущих все те же два (непреложных)

истины Маяковского. А еще лучше — как во всё вѣка писали поэты и читали поэтов — в лѣсу, одному, не заботясь, лѣс ли это листьями или Пастернак листьями.

Я сказала: первый в мирѣ поэт масс. И еще прибавлю: первый русский поэт — оратор. От трагедии «Владимир Маяковский» до послѣдняго четверостишия:

Как говорят «инцидент исперчен»,  
Любовная лодка разбилась о быт.  
Мы с жизнью в расчётъ и не к чему перечень  
Взаимных болей и бѣд и обид.

— всюду, на протяжении всего его — прямая рѣчь с живым прицѣлом. От витии до рыночного зазывала Маяковский неустанно что-то в мозги вбивает, чего-то от нас добивается — какими угодно средствами, вплоть до грубѣйших, неизмѣнно удачных.

Примѣр послѣдняго:

И на кровати Александры Феодоровны  
Развалился Александр Феодорович.

— то, что мы всё знали, созвучіе имен, которое всё отжѣчали — ничего новаго, но — здорово! И как бы мы ни отянулись и к Александрѣ Феодоровнѣ, и к Александру Феодоровичу, и к самому Маяковскому, каждый из нас этими строками удовлетворен, как формулой. Он тот поэт, которому всегда все удается, потому что должно удаваться. Ибо на том краю, по которому неустанно ходит Маяковский, ошибиться значит — разбиться. Все творчество Маяковского балансировка между великим и прописным. Путь Маяковского — не литературный путь. Идущіе его путями повседневно это доказывают. Сила неподражаема, а Маяковский без силы — nonsens. Общее мѣсто, доведенное до величія — вот, зачастую, формула Маяковского. В этом он — иной вѣк — иная рѣчь — сходен с Гюго, котораго, напомним, — читал:

В каждом юношѣ — порох Маринетти,  
В каждом старцѣ — мудрость Гюго.

Не даром Гюго, а не Гете, с которым Маяковского не роднило ничто.

Кому же говорит Пастернак? Пастернак говорит сам с собою. Даже хочется сказать: при самом себѣ, как в присутствіи дерева или собаки, того, кто не выдаст. Читатель Пастернака, и это чувствует всякій, — соглядатай. Взгляд не в его, Пастернакову, комнату (что он дѣлает?), а непосредственно ему под кожу, под ребра (что в нем дѣлается?).

При всем его (уже многолѣтнем) усилии выйти из себя, говорить тѣм-то (даже всѣм), так-то и о том-то — Пастернак неизмѣнно говорит не так и не о том, а главное — никому. Ибо это мысли вслух. Бывает — при нас. Забывает — без нас. Слова во снѣ или спресонок. «Парки сонной лепетаешь»...

(Попытка бесѣды читателя с Пастернаком мнѣ напоминает діалоги из «Алисы в странѣ Чудес», гдѣ на каждый вопрос слѣдует либо запаздывающій, либо обскакивающій, либо вовсе не относящійся к дѣлу отвѣт, — очень точный бы, ежели бы — но здѣсь неумѣстный. Сходство объясняется введеніем в «Алису» другого времени, времени сна, из котораго никогда не выходит Пастернак).

Ни у Маяковского, ни у Пастернака, по существу, нѣтъ читателя. У Маяковского — слушатель, у Пастернака — подслушиватель, соглядатай, даже слѣдопыт.

И еще одно: Маяковский в читательском сотворчествѣ не нуждается, имѣющій (самыя простыя) уши — да слышит, да — вынесет.

Пастернак весь на читательском сотворчествѣ. Читать Пастернака немногим легче, а может быть и совсѣм не легче, чѣм Пастернаку — себя писать.

Маяковский дѣйствует на нас, Пастернак — в нас. Пастернак нами не читается, он в нас совершается.

Есть формула для Пастернака и Маяковского.  
Это — двуединая строка Тютчева:

Все во мнѣ и я во всем.

Все во мѣ — Пастернак. Я во всем — Маяковский. Поэт и гора. Маяковскому, чтобы быть (сбыться) нужно, чтобы были горы. Маяковский в одиночном заключеніи — ничто. Пастернаку, чтобы были горы, нужно было только родиться. Пастернак в одиночном заключеніи — все. Маяковский сбывается горой. Пастернаком — гора сбывается. Маяковский, восчувствовав себя, предположим, Уралом, — Уралом стал. Нѣтъ Маяковского. Есть Урал. Пастернак, вобрав в себя Урал, сдѣлал Урал — собою. Нѣтъ Урала. Есть Пастернак. (Распространенно: нѣтъ Урала, кромѣ пастернаковскаго Урала, как оно и есть: ссылаюсь на всѣх читавших Дѣтство Люверс и Уральскіе стихи).

Пастернак — поглощеніе, Маяковский — отдача. Маяковский претвореніе себя в предметъ, раствореніе себя в предметъ. Пастернак претвореніе предмета в себя, раствореніе предмета в себя: да, и самых нерастворяющихся предметов, как горныя породы Урала. Всѣ горныя породы Урала растворены в его лирическом потоцѣ, лишь оттого таком тяжелом, таком громоздком, что это — нѣтъ, даже не лава, ибо лава раствореніе однороднаго земнаго — а насыщенный (міром) раствор.

Маяковский безличен, он стал вещью, живописуемой. Маяковский, как ния, собирательное. Маяковский, это кладбище Войны и Міра, это родины Октября, это Вандомскій столп, задумавшій жениться на площади Конкорд, это чугунный Понятовскій, грозящій Россіи, и нѣкто (сам Маяковский) с живого пьедестала толп — ему грозящій, это на Версаль идущее «хлѣба!». Это послѣдній Крым, это тот послѣдній Врангель... Маяковского нѣтъ. Есть — эпос.

Пастернак останется в видѣ прилагательнаго: пастернаковскій дождь, пастернаковскій прилив, пастернаковскій орѣшник, пастернаковскій и так далѣе, и так далѣе.

Маяковский — в видѣ собирательнаго: сократительнаго.

В жизни дней Маяковский один за всѣх (от лица всѣх).  
(Десятилѣтіе Октября)

Под скромностью ложной — радости не тая,  
Ору с побѣдителями голода и тьмы:

— «Это я!  
Это — мы!».

(Ложной скромности в нем не было, но — вчитайтесь! — такая глубочайшая настоящая. Впервые поэт гордится тѣм, что он то же, что он — всѣ!).

Пастернак: один из всѣх, меж всѣх, без всѣх:

Всю жизнь хотѣл — быть, как всѣ,  
Но мир в своей краѣ  
Не слушал моего нытья  
И быть хотѣл — как я!

Пастернак — невозможность слиянія.

Маяковский — невозможность несліянія. Он во враждѣ больше сливается с врагом, чѣм Пастернак, в любви, с любимым. (Конечно, знаю, что и Маяковский был одинок, но одинок только в порядкѣ исключительности силы, не единственность лица, а единоличность силы). Маяковский насквозь человѣчен. У него и горы говорят человѣческим языком (как в сказкѣ, как в каждом эпосѣ). У Пастернака человѣкъ — горным (тѣм же пастернаковским потоком). Ничего нѣтъ умилительнѣе, чѣм когда Пастернак пытается подражать человѣку, той честности, доведенной до рабства, нѣкоторых отрывков Лейтенанта Шмидта. Он до такой степени не знает, как это (то или иное это) с людьми бывает, что, как послѣдній ученик на экзаменѣ, списывает у сосѣда все сплошь, вплоть до описок. И какой жуткій контраст: живой Пастернак, с его рѣчью, и рѣчь его, якобы объективнаго, героя.

Все Пастернаку дано кромѣ другого — от любого до даннаго, во всѣх его разновидностях другого, живого человѣка. Ибо другой человѣкъ Пастернака не живой, а какой-то сборник общих мѣст и поговорок, — так нѣмец хочет прихвастнуть знаніем русскаго языка. Обыкновенный человѣкъ Пастернака самый необыкновенный. Пастернаку даны живыя горы, живое море (и какое! первое море в русской литературѣ послѣ моря свободной стихіи и пушкинскому равное), зачѣм перечислять? дано живое — все!

Здѣсь даже снѣг благоухает  
И камень дышет под ногой...

— все, кромѣ живого человѣка, который либо тот нѣмец, либо сам Борис Пастернак, то-есть одиночное, ни на что не похожее, то-есть сама жизнь, а не живой человѣк. (Сестра моя Жизнь, так люди — жизни не зовут).

В его гениальной повѣсти о четырнадцатилѣтней дѣвочкѣ все дано, кромѣ данной дѣвочки, цѣльной дѣвочки, то-есть дано все пастернаковское прозрѣніе (и присвоеніе) всего, что есть душа. Дано все дѣвчончество и все четырнадцатилѣтіе, дана вся дѣвочка вразброд (хочется сказать: враздробь), даны всѣ составные элементы дѣвочки, но данная дѣвочка все-таки не состоялась. Кто она? Какая? Не скажет никто. Потому что данная дѣвочка — не данная дѣвочка, а дѣвочка, данная сквозь Бориса Пастернака: Борис Пастернак, если был бы дѣвочкой, то-есть сам Пастернак, весь Пастернак, которым четырнадцатилѣтняя дѣвочка быть не может. (Сбываться через себя людям Пастернак не дает. Здѣсь он обратное медиуму и магниту — если есть медиуму и магниту обратное). Что у нас от этой повѣсти остается? Пастернаковы глаза.

Но больше скажу: эти пастернаковы глаза остаются не только в нашем сознаниі, они физически остаются на всем, на что он когда-либо глядѣл — в видѣ знака, мѣты, патента, так что мы с точностью можем установить, пастернаковскій это лист, или просто. Вобрав (лист) глазом — возвращает с глазом (глазком). (Не могу удержаться от слѣдующей — русскаго слова нѣтъ — реминисценціи: пастернаковская (отца) извѣстная и прелестная постель: «Глазок». Огромная кружка, над ней, покрывая и скрывая все лицо пьющаго — дѣтскій огромный глаз: глазок... Может-быть, сам Борис Пастернак в младенчествѣ, достоверно, Борис Пастернак — в вѣчности. Если бы отец знал, кто и, главное что так пьет).

Как я нѣкогда, совсѣм иначе, лирически и иносказательно:

И всѣ твоими очами глядят иконы!

— об Ахматовой, так нынѣ, вполне достоверно и объективно, о Пастернакѣ:

И всѣ твоими очами глядят деревья!

Всякій лирик вбирает, но большинство внѣ сита и задержки глаза, непосредственно извнѣ в душу, окунает вещь в обще-лирическую влагу и возвращает ее окрашенной этой общелирической душой. Пастернак же через глаз мѣръ — прощупывает. Пастернак — отбор. Его глаз — отжим. За сѣтчатку пастернаковскаго глаза протекает — течет потоками — вся природа, проскакивает порой и человѣчскій фрагмент (всегда незабвенный!), за нее никогда еще не проникал ни один человѣк в цѣлом. Пастернак и его неизмѣнно растворяет. Не человѣк, а человѣчскій раствор.

Поэзія! Греческой губкой в присосках  
Будь ты, и меж зелени клейкой  
Тебя б положил я на мокрую доску  
Зеленой садовой скамейки.  
Расти себѣ пышныя брызги и фижмы,  
Вбирай облака и овраги,  
А ночью, поэзія, я тебя выжму  
Во здравіе жадной бумаги.

Напоминаю, что губка Пастернака — сильно окрашивающая. Все, что вобрано ею, никогда уже не будет тѣм, чѣм было, и мы, вначалѣ утверждавшіе, что такого (как у Пастернака) дождя никогда не было, кончаем утверженіем, что никакого, кромѣ пастернаковскаго, ливня никогда и не было и быть не может. Тот случай Уайльда воздѣйствія искусства (иначе: глаза) на природу, то-есть прежде всего на природу нашего глаза.

Живой человѣк Пастернака, как мы сказали, либо фантом, либо сам Пастернак, лицо всегда подставное. Маяковскій также неспособен на живого человѣка, но не потому же. Если Пастернак его раздробляет и растворяет, Маяковскій его до-творяет, надставляет — и вверх, и вниз, и вширь (только не вглубь!), подводит под него постамент своей любви или помост своей ненависти, так что получается не любимая Лиля

... пример, но Лиля Брик, возведенная в некую степень его, Маяковского, любви: всей человеческой, мужской и подковой любви, Лиля Брик — Собор Парижской Богоматери. То есть сама любовь, громада маяковской любви, всей любви. Если же это «блгогвардеец» (враг), Маяковский наделяет его такой выразительности атрибутами, что мы не вспомним ни одного нашего живого знакомого добровольца, это будет Бллая Армия глазами Красной Армии: то есть живой эпос неадапти, то есть совершенный урод (изверг), а не живой (несовершенный, то есть и с добродетелями) человек. Генерал будет — до чудовищности отросший погон и бакенбард, буржуа будет — не мясом, а цлым мясом выступающий на нас живот, муж (в поэме Любовь) — его, Маяковского, ненавистью, которой не в состоянии оправдать, если даже сложатся вместе в своем ничтожестве, цлая сотня «мужей». Такого мужа нет. Но такая ненависть — есть. Чувства Маяковского не гипербла. Но живой человек — гипербола. В случае любви — собор. В случае ненависти — забор, то есть эпос наших дней: плакат.

Глазомър масс в ненависти и глазомър всей массы Маяковского в любви. Не только он, но и герои его — эпичны, то есть безымяны... В этом он опять-таки сроден Гюго, на бесконечных и густо заселенных пространствах своих Мизераблей не давшему ни одного живого человека, как он есть, а Домг (Жавера), Добро (Монсеньера), Несчастье (Ваджана), Материнство (Фантину), Девичество (Козетту) — и так далее, и так далее, — и давшему так безмерно больше «живого человека»: живая сила, миром движущая. Ибо — настанав на этом всем вѣсом — всякую силу, будь то сила чисто физическая, Маяковский при самом живой ненависти, дает живой. Искажает он только, когда презирает, когда перед лицом слабости (хотя бы цлаго торжествующаго класса!), а не силы — хотя бы усиленной. Не прощает Маяковский, в конце концов, только немощи. Всякой мощи его мощь воздает должное. Вспомним стихи Понятовскому и, недалеко ходя, генеральныя строки о последнем Врангеле, встающем и остающемся как последнее видѣние Добровольчества над последним Кремлем, Врангелъ, только Маяковским данном в рост его нечеловеческой бды, Врангелъ в рост трагедии.

Перед лицом силы Маяковский обрѣтает црный глаз, а црноте его непомѣрный глаз здесь оказывается у места: нормальным. Пастернак ошибается в составѣ человека, Маяковский в размѣрѣ человека.

Когда я говорю глашатай масс, мнѣ видится либо время, когда всѣ такого росту, шагу, силы, как Маяковский, были, либо время, когда всѣ такими будут. Пока же, во всяком случае в области чувствований, конечно, Пулливера среди лиллипутов, совершенно таких же, только очень жаленьких. Об этом же говорит и Пастернак в своем приветствии лежащему:

Твой выстрѣл был подобен Этимъ  
В предгорье трусов и трусих.

Не похож «живой человек» и у Пастернака и у Маяковского еще и потому, что оба поэты, то есть живой человек плюс что-то и минус что-то.

Дѣйствие Пастернака и дѣйствие Маяковского. Маяковский отрезвляет, то есть, резодрав нам глаза возможно шире — верстовым столбом перста в вещь, а то и в глаз: гляди! заставляет нас видѣть вещь, которая всегда была и которой мы не видѣли только потому, что спали — или не хотѣли.

Пастернак, мало что опечатавшись на всем своим глазом, нам еще этот глаз вставляет.

Маяковский отрезвляет. Пастернак завораживает.

Когда мы читаем Маяковского, мы помним все, кроме Маяковского.

Когда мы читаем Пастернака, мы все забываем, кроме Пастернака.

Маяковский космически останется во всем внешнем мире. Безлично (слитно). Пастернак остается в нас, как прививка, видоизменившая нашу кровь.

Орудование массами, даже массивами («les grandes machines», сам Маяковский — завод Гигант). Явление деталями — Пастернак.<sup>1)</sup> У Маяковского тоже есть детали, весь на деталях, но каждая деталь с рояль. (По временам физика стихов Маяковского мне напоминает лицо Воскресенья из «Человѣка, который был Четвергом» — слишком большое, чтобы его можно было мыслить). Оптом — Маяковский. В розницу — Пастернак.

Тайнопись — Пастернак. Явнопись, почти пропись — Маяковский. «Черного и бѣлаго не покупайте, да и нѣт не говорите» — Пастернак. Черное, бѣлое. Да, нѣт — Маяковский.

Иносказание (Пастернак).<sup>2)</sup> Прямосказание, при чем, если не понял, повторит и будет повторять до безчувствия, пока не добьется. (Из сил никогда не выбьется!).

Шифр (Пастернак). — Свѣтовая реклама, или, что лучше, прожектор, или, что еще лучше — маяк.

Нѣт человѣка, не понимающего Маяковского. Гдѣ человек, до конца понявший Пастернака? (Если он есть — это не Борис Пастернак).

Маяковский — весь самосознание, даже в отпадѣ:

Всю свою звонкую силу поэта  
Я тебѣ отдаю, атакующей класс!

— с ударением на в с ю. Знает, что отдает!

Пастернак весь самосомнѣние и самозабвение.

Гомерический юмор Маяковского.

<sup>1)</sup> Всесильный Бог любви,  
Всесильный Бог деталей,  
Ягайлов и Ядвиг.

(Б. П.).

<sup>2)</sup> Беру любой примѣр. Смерть поэта:

Лишь был на лицах влажный сдвиг,  
Как в складках прорванного бредня.

Слезный, влажный сдвиг, сдвинувший все лицо. Бредень прорван, проступила вода. — Слезы.

Исключенность юмора у Пастернака, развѣ-что начало робкой (и сложной) улыбки, тут же и кончающейся.

Пастернака долго читать невыносимо от напряжения (мозгового и глазного), как когда смотришь в чрезмерно острья стекла, не по глазу (кому он по глазу?).

Маяковского долго читать невыносимо от чисто физической растраты. Послѣ Маяковского нужно много и долго ѣсть. Или спать. Или — кто постояче — ходить. Наверстывать, или — кто постояче — вышагивать. И невольно видѣние Петра, глазами восемнадцатилѣтняго Пастернака:

О как он велик был! Как сѣткой конвульсій  
Покрылись желѣзные щеки,  
Когда на Петровы глаза навернулись,  
Слезя их, заливы в осокѣ...  
И к горлу балтійскія волны, как комья  
Тоски подкатали...

Так Маяковский нынче смотрит на россійскую стройку.

Марина Цветаева.

BIBLIOTHÈQUE RUSSE  
TOURGUENEV  
9, Rue du Val-de-Grâce, 9

# Судьба коммунистического идеала образования

## 1.

В течение пятнадцати лет существования советской власти основные начала школьной политики Коммунистической Партии испытали по крайней мере пять превращений. В период военного коммунизма (1917-1922) господствовала идея так называемого «политехнизма», которая многим казалась не чем иным, как крайним выводом из демократической педагогики. Для радикальных педагогов всех стран, в особенности же стран «буржуазных», этот первоначальный коммунистический идеал образования до сих пор еще не утратил своей ослепляющей силы и притупляет тяжелую действительность советской школы. Между тем уже в период Нэпа идеал политехнически развитой личности, свободно проявляющей себя в условиях бесклассового общества, был оттеснен на задний план идеалом «борьбы за интересы пролетариата», твердо усвоившего марксистское мировоззрение и те знания, которые необходимы «красному спецу». К концу Нэпа (1926-1927) однако и этот идеал «классового профессионализма» уже поблек и выдохся, и школьная политика советской власти приобретает черты безпринципного оппортунизма, приводящего к восстановлению отдельных элементов старой школы. Замечательно, что именно эти годы «новой культурной политики» оказываются наиболее благоприятными для реального школьного строительства. Русская школа оправляется от пережитых потрясений, восстанавливается и количественно и качественно, вступает даже в полосу медленного, но устойчивого подъема и количественного роста. С уничтожением «правой оппозиции» в 1929 году и превращением «пятилетки» из плана хозяйственного и культурного строительства в программу и знамя воинствующего коммунизма, процесс

этот вновь прерывается: реальный подъем и количественный рост школы уступают место бешеной скачке «темпов», ведущей к новому разрушению организма русской школы, и одновременно вспыхивает вновь с усугубленной силой коммунистический идеал образования, на этот раз в виде идеи полтаго «слияния школы с производством», в котором встречаются вместе элементы как первой, «политехнической», так и второй, «классово-профессиональной» фазы коммунистического идеала образования. Но и эта последняя вспышка коммунизма в школьной политике советской власти оказывается недолговечной: В 1931 году происходит разгром «левой оппозиции» на фронте производства, и победа «генеральной линии» в области педагогики приводит к новой реставрации старой школы, еще более безпринципной и более откровенной, чем та, которая характеризовала «новую культурную политику» последних лет Нэпа.

Уже из этого краткого обзора судьбы коммунистического идеала образования явствует основная присущая ему черта: Он не только оказался неприменимым к действительности, но и сам по себе оказался до чрезвычайности текучим, многоликим и неустойчивым. Общая присущая коммунизму отрицательность явилась для него особенно губительной. Он не только не мог создать ничего положительного, но сам оказался разъяденным своей внутренней отрицательностью.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> В настоящей статье я пытаюсь лишь дать общую характеристику тех фаз превращений, которые прошли в своем развитии коммунистический идеал образования и школьная политика советской власти. Фактического положения русской школы за 15 лет существования советской власти я здесь касаюсь лишь в той мере, в какой это необходимо для понимания этих превращений. Что касается фактической стороны вопроса, я позволяю себе отсылать читателя к другим статьям. 1) Десять лет советской школы (Русская Школа за рубежом, № 28); 2) Школьная политика советской власти за 1927-1930 гг. (там же, № 34); 3) Пятилетка и школьная политика советской власти (Новый Град, № 1); 4) Итоги культурной пятилетки (Советские Записки, № 51), из которых первые две написаны мною совместно с Н. Новохолодным. Подробности см. в моей (совместно с Н. Ганцом написанной) книге Educational Policy in Soviet Russia (London, 1930), в только что вышедшем немецком издании которой (Fünfzehn Jahre Sowjet-Schulwesen, 1933) изложение доведено до конца 1932 года.

В самом началѣ эта внутренняя отрицательность коммунистическаго идеала образования еще прикрывается личиною ничѣм не ограниченной свободы. Вѣдь, только что сам Ленин в своей вышедшей накануне Октябрьской революціи книгѣ («Государство и Революція») счел нужным подчеркнуть совершенное тождество коммунистическаго идеала с анархизмом. В коммунистическом обществѣ, утверждал он, вмѣстѣ с дѣленіем на классы отомрет не только государство, но и право, а значит и всякая власть человѣка над человѣком. Мѣсто послѣдней займет власть человѣка над природой, неограниченность которой и составит подлинную свободу человѣка, свободу реальную, а не ту мнимую, формальную свободу, которая в буржуазном обществѣ прикрывает собою самую злѣйшую эксплуатацію. Неудивительно, что и совѣтская педагогика эпохи военнаго коммунизма, вѣрившая в скорое наступленіе коммунистическаго рая, выдвигала анархическій идеал всесторонне развитой человѣческой личности, ничѣм не связанной, никѣм не насиуемой, пользующейся почти неограниченной свободой. «Высшей цѣнностью в социалистической культурѣ останется личность», читаем мы в «Основных принципах единой трудовой школы» 1918 года. Чтобы она могла «развернуть со всей возможной роскошью свои задатки», ея нельзя «урѣзывать, обманывать и отливать в насильственные формы». Трудовая школа означает прежде всего поэтому школу активную. «Трудовой принцип сводится к активному, подвижному, творческому знакомству с міром». Но социалистическое общество есть «единая фабрика», в которой эксплуатація человѣка человѣком замѣнена эксплуатаціей объединенным человѣчеством земнаго шара. Школа поэтому должна воспитать этого будущаго «властелина природы». «Цѣль трудовой школы отнюдь не дрессировка для того или другаго ремесла, а политехническое образование, дающее дѣтям на практикѣ знакомство с методами важнѣйших форм труда, частью в учебной мастерской или на школьной фермѣ, частью на фабриках, заводах и т. п.». Политехническая школа в этом смыслѣ преодолевает противо-

положность умственнаго и физическаго труда, единство ея отражает единство социальнаго строенія безклассоваго коммунистическаго общества, в котором всѣ будут управителями и управляемыми, руководителями труда и его исполнителями. Вмѣстѣ с тѣм школа будет составлять одно с жизнью, она будет составною частью производственнаго процесса, наука будет выростать из производства и его вдохновлять. Школа будет самоуправляющеюся общиной учащихся, учитель — старшим товарищем учащихся, а учебник замѣнен справочными пособиями и библиотеккой. Учителя будут составлять свободныя группы по разным предметам, классы — замѣнены «клубами» и «кружками» учащихся.

Вполнѣ понятно, что этот идеал «политехническаго» и вмѣстѣ с тѣм абсолютно свободнаго воспитанія представлялся защитникам буржуазной радикальной педагогики крайним выводом из их собственных вождельній. Они видѣли в нем утопію, но утопію родственную им по духу, и искренне завидовали тому «интереснѣйшему эксперименту», который производился в невиданном доселѣ масштабѣ на «одной шестой части земнаго шара». Да и самые представители марксистской педагогики, как, напримѣр, Н. Крупская, считали себя продолжателями и крайними выразителями демократической педагогики, до конца осуществляющими то, пред чѣм другіе останавливались на полпути: полная независимость каждаго отдѣльнаго учащагося, каждаго отдѣльнаго учащаго, каждой отдѣльной школы, отсутствіе какаго бы то ни было начальства и внутри школы и над школой, равенство полов, равенство вѣроисповѣданій, — все это были только крайніе выводы тѣх требованій, которыя искони воодушевляли представителей и русской и заграничной демократической педагогики. Теперь мы знаем, что эта утопія оказалась безсильной создать что-либо положительное, что она, по свидѣтельству самих совѣтских педагогов послѣдующаго періода, «привела только к разрушенію школы», и без того подорванной в своем существованіи страшными условіями жизни военнаго коммунизма. Сила ея оказалась взрывчатой силой, абстрактность обернулась разрушеніем.

Когда, с началом Нэпа, пришлось приступить к положительной, созидательной работе, сама советская педагогика, как известно, отказалась от своего первоначального идеала и заменила его новым, с виду ему прямо противоположным. Марксистски эта новая фаза коммунистического идеала образования обосновывалась тем, что периоду окончательного, «интегрального» коммунизма предшествует в настоящее время «переходный период» пролетарской диктатуры, обостренной классовой борьбы, главным орудием которой является завоеванное партией государство. Государству нужна «квалифицированная рабочая сила», а Партии — «смѣна», и эти две цели определяют собою содержание второй фазы коммунистического идеала образования. На первый взгляд, эта вторая фаза коммунистического идеала образования представляет собою прямую противоположность первой. Общедоступность школы замѣнена здесь принципом «классового отбора». Самой школе ставится задача не проявления личности «со всей возможной роскошью ее задатков», а подчинения личности целям Партии и целям Государства. Идеал «коммунистически-профессионального» образования вытѣсняет идеал образования «политехнического». Единая школа вырождается в школу, готовящую рабочую силу разной квалификации в мѣру «заявок» на нее со стороны хозяйственных и других органов государства. Активная школа вырождается в школу, имѣющую целью «внѣдрить» коммунистическое мировоззрѣние в головы учащихся. «Труд» совпадает с марксистской теорией классовой борьбы, которая приобретает значение монопольного вѣроисповѣданія. Самоуправление учащихся становится добычей коммунистических организаций молодежи, и каждая отдельная школа подчиняется мелочному бюрократическому надзору коммунистического начальства. С помощью «комплексного метода» буржуазные предметы старой школы замѣняются стройно разработанной системой коммунистического знания, в которой всё «навыки» и всё «свѣдѣнія» сосредоточиваются вокруг марксистской идеи «пронзодственных отношений», как своего основного «стержня».

Однако, если ближе присмотрѣться к этим объектам фазам коммунистического идеала, то связь между ними становится очевидной. Абстрактный характер первоначальной утопии, провозглашавшей свободу как отвѣтное отрицание каких бы то ни было связей и совершенное растворение школы в «жизни», проявил во второй фазѣ коммунистического идеала свою чисто отрицательную сущность. Отрицание, первоначально прикрывшееся еще маской отвлеченной свободы, во второй фазѣ конденсировалось, стало самим собой, явило себя в своем собственном видѣ, подтвердив этим лишній раз гегелевскую мысль о том, что отрицание есть жизненный нерв абстракции. Сравнительно внимательно теория советских педагогов первого и второго периода, нетрудно прослѣдить звенья этого перехода абстрактной свободы в отрицание. Уже у Блонского «жизнь», с которой должна слиться школа, оказывается не конкретной, реальной жизнью, фактически окружающей ребенка, а будущей жизнью индустриализованного общества, полностью осуществившаго в себѣ технический и социальный идеал коммунизма. Этому отвлеченному идеалу приносятся в жертву конкретные интересы ребенка и самая его личность, в результате чего уже у Блонского «труд» перестает быть активностью ребенка и вырождается в «идею труда» как ее понимает марксизм, и задача образования заключается в том, чтобы ребенок хотя бы чисто пассивно усвоил эту отвлеченную идею труда, т.-е. стал убежденным коммунистом, а не активным дѣятелем этого, сейчас еще только «мелкобуржуазного», мира. Школа должна воспитать борца за будущий мир, а не активного дѣятеля мира, сейчас существующаго. Будущее поглощает здесь без остатка настоящее, настоящее не имѣет собственной цѣли и есть только «удобрение для будущей гармонии».

Единственным носителем этого будущего является в настоящее время Коммунистическая Партия и завоеванное ею государство, которое, прежде чѣм отмереть, должно, в переходную эпоху диктатуры пролетариата, дойти до крайняго напряжения своей мощи. Задача школы и заключается в том, чтобы подготовить для Партии «смѣну», а для государства — «квалифицированную рабочую силу». Гринько и Ряппо, которым принадлежит одно из первых обоснований этой второй — «про-

фессионалистской» — фазы советской школьной политики, пользуются при этом той же самой марксистской идеей «слияния школы с производством», что и их «политехнические» предшественники — Крупская и Блонский. Достаточно было им применить эту идею, которую «политехники» развили применительно к отдельной школе, к школьной системе в целом, чтобы прийти к внешне прямо противоположным результатам. Трудовая школа, говорили Крупская и Блонский, означает полное слияние обучения с производством. Она не учит отдельным предметам, а приобщает будущего «владетеля природы» ко всем основным сторонам производственного процесса, осуществляя в этом смысле политехническое образование. Она отрицает дуализм умственного и физического труда и является школой единой в подлинном и полном смысле этого слова. Вся школьная система в целом, утверждают Гринько и Риппо, должна стать составной частью «производственного процесса». Так называемая якобы «автономная наука» есть в действительности не что иное, как «идеологическая надстройка» над производственными отношениями и, стало-быть, только орудие классовой борьбы. Дуализм школы и производства есть только отражение дуализма классов, отличающего капиталистическое общество. В коммунистическом обществе дуализм этот исчезает, и вместе с классовым дуализмом исчезает необходимо и различие между «идеологией» и «производством». «Идеология» становится явно тем, чем она, в скрытой форме, всегда была и в капиталистическом обществе — орудием и отражением производственного процесса. Поэтому отдельные школы должны быть распределены между отдельными отраслями производства, для которых они поставляют квалифицированную рабочую силу, и которых «цехами» они являются.

Мы видим: как ни противоположны выводы, вытекающие для реальной школьной политики из обеих фаз коммунистического идеала образования, обе эти фазы вырастают из одного и того же корня. Корнем этим является марксизм с присущим ему отрицанием автономии духа, понимаемого как простая ирреальная «надстройка» над единственно реальной «базой» производственных отношений. В эпоху военного коммунизма «диктатуру пролетариата» мыслили еще как короткий пе-

риод господства подавляющего большинства народа, и социализм — как исполнение демократии. Когда «диктатура пролетариата» обнаружила свою затяжную природу, и место «интегрального коммунизма», отошедшего в неопределенное будущее, заняли его реальные носители в настоящем — Партия и завоеванное ею государство, — тогда втра в таинственную силу отрицания, которого, казалось, достаточно для того, чтобы из него само собою родилось счастливое общество будущего, сбросила с себя прикрывавшую ее личину отвлеченной свободы. В эпоху Нэпа отрицание окопалось на завоеванных им «командных высотах» диктатуры, притаилось, как «передышка» революции, которую надо использовать для того, чтобы воспитать верных слуг нового революционного наступления. Исчерпав свою взрывчатую силу, оно начало копить силы для нового, еще более грозного разрушения.

В соответствии с этим изменился и характер носителей и мопутчиков советской школьной политики. На место мечтателей-прожектеров, непризнанных новаторов, приверженцев радикальных теорий в атмосфере реальной, а не мнимой свободы и подлинной демократии, выступили на сцену расчетливые дельцы, послушные чиновники, озлобленные неудачники прошлого времени. Злость и ненависть, административный восторг, бездушный карьеризм заступили место первоначального оптимизма и наивного энтузиазма первого времени. Замысел растворить школу в жизни сменился попыткой «скрутить» школу, превратить ее в простое орудие политики Партии.

Неудача этой попытки крайнего политизирования школы и образования сказалась с особенной яркостью в годы расцвета Нэпа. Саморазрушение «комплекса», этой попытки замнить старые «буржуазные» предметы новой системой марксистского мировоззрения, и безуспешность «классового отбора», оказавшаяся бессильным сколько-нибудь значительно поднять «пролетарское ядро» в высших учебных заведениях и техникумах, явились наиболее характерными симптомами общего крушения школьной политики советской власти второго периода. Оказавшись бессильными утвердиться в школьной действительности, учебные планы и программы 1923 года только окончательно разложили школьное преподавание, и уже к концу 1926

года советская власть вынуждена была официально признать неудачу своей школьной политики и отказаться от коммунистического идеала образования, как он был сформулирован в 1921-1923 г.г. Безсистемное восстановление элементов старой школы и ничем неприкрытый оппортунизм явились, как известно, результатом наступившего разочарования, и они определили собою политику последних лет Нэпа. Марксистское отрицание идеальной закономерности науки и школы, понимание ее как простой ирреальной «надстройки» над производственными отношениями оказалось утопией. Оказалось, что идеальная закономерности в мире царствуют с непреложностью, не уступающей необходимости реальных законов природы. И как нельзя безнаказанно нарушать эти последние, точно так же не проходит даром утопический бунт против идеальных закономерностей мира. Разрушительная сила, которую вторично только и удалось развить коммунистическому идеалу образования, явилась лучшим свидетельством того, что об идеальную закономерность мира можно ушибиться не в меньшей мере, чем о физические законы вещества.

#### 4.

Это отступление советской власти на фронт просвещения является одним из возвышеннейших зрелищ эпохи Русской Революции. Государственная власть, надѣленная всеми средствами физического принуждения и не стѣсняющаяся ничѣм в применении этих средств, вынуждена была отступить перед внутренней закономерностью идеальных сущностей мира. Впрочем обнаружилось, что дух имѣет свои собственные законы, игнорирование которых не проходит безнаказанно, и что он только ограничивается, умалется и искажается материей, но отнюдь не порождается ею. Было бы однако неправильно считать, что законы духа дѣйствуют сами по себѣ, так же автоматически, как законы вещества. Игнорирование их вело автоматически к разрушению школы, но не автоматически дѣйствовали они, поскольку русская школа в последние годы Нэпа обнаружила тенденцию к быстрому восстановлению и явному органическому росту. Чтобы осуществляться в исторической дѣй-

ствительности, идеальные законы духа, царствующие в этом мире, нуждаются в людях, которые своей творческой волей помогают им осуществиться в действительности, — превосходный пример того, что человек является помощником и пособником Бога в этом мире.

Сами советские источники говорят о том, что 1925 год явился переломным годом в жизни русской школы. С этого именно года она вступает в полосу органического, хотя и медленного, роста, постепенно повышается и качество школы, начинается восстановительный процесс. Чем больше удаляется в неопределенное будущее и блекнет коммунистический идеал образования, тем успешнее идет мелкая, будничная работа восстановления школы, количественного расширения ее сети и качественного поднятия ее уровня.

Кто же явился в эти годы коммунистического безвременья реальным носителем идеальных законов духа, выразителем и пособником образовательных ценностей? Факторы, которые содействовали этому подъему русской школы, были многообразны. Университетская традиция была поддержана влиятельным в эпоху Нэпа социальным слоем, т. наз. «хозяйственниками», среди которых руководящую роль играли инженеры, а часто и промышленники, вскормленные еще старым режимом. Все эти завѣдуемые советскими фабриками, заводами и предприятиями требовали от школы не столько «коммунистической смѣны», сколько хорошо подготовленных «спецов», необходимых им для хозяйственного строительства. Точно так же и крестьянство, пробужденное революцией и начавшее укреплять свое хозяйство согласно завѣтам ленинского Нэпа, требовало от школы прежде всего элементарной грамотности и практических навыков. Не раз заставляли крестьяне учителя, под угрозой лишения школы топлива и учащихся, отказаться от применения всяких новых методов в пользу более успешного обучения дѣтей счету и письму. В качестве третьего фактора выступили национальности. Интеллигенция национальных меньшинств, согласившаяся на сотрудничество с советской властью, тоже меньше всего думала о воспитании дѣтей в коммунистическом духѣ, но старалась использовать представившийся ей момент возможно шире для образования своей молодежи в духѣ своей соб-

ственной национальной традиции. Нельзя, наконец, забывать, в-четвертых, и роли старого учительства в эпоху Нэпа. В 1926 году старое учительство составляло еще около двух третей всего числа учителей советской школы. И хотя в 1925 году оно формально признало советскую власть, примирение это было неискренним и поверхностным. Больше всего страдали учителя от «дерганья», как сам Рыков назвал в 1926 году методические эксперименты Наркомпроса. Всюду, где только можно, учителя старались применять привычные им методы работы, к чему побуждал их и здравый смысл и инерция педагогической деятельности. Замечательно, что все эти факторы, вскормленные старым режимом, но и неустанно боровшиеся против него, в эпоху Нэпа окрѣпли и явились носителями той школьной реставрации, которая, к вящему неудовольствию лѣвой оппозиции внутри коммунистической партии, обозначилась в последние годы Нэпа с такой определенностью. Разумеется, это не была реставрация старой «царистской» школы, но это был отказ от школы коммунистической, отказ вообще от какой бы то ни было принципиальности в педагогикѣ, и на почвѣ этой торжествующей безпринципности сами собой возрождались старые привычные методы и отдельные обломки того, что можно назвать педагогической традицией.

Этот период стабилизации длился однако недолго. Хозяева — крестьянство, национальные меньшинства и учительство — эти положительные силы русской школы — оказались бессильными оградить ее от нового натиска воинствующего коммунизма. Коммунистическая реакция наступила осенью 1929 года как необходимое слѣдствие начатого Сталиным нового курса советской политики, рѣзкого поворота ее к «сто процентному коммунизму», тѣсно связанного с «пятилѣтним планом индустриализации». «Пятилѣтка» означает возвращение курса советской политики от Нэпа к коммунизму — в полном соответствии с известными словами Ленина, сказанными им при введении Нэпа: «Мы сейчас отступаем, но только для того, чтобы, отступив, разбѣжаться для болѣе сильного скачка вперед».

## 5.

Школьная политика советской власти эпохи пятилѣтки была мною уже описана на страницах «Новаго Града» (№ 1). Все основные черты коммунистического идеала образования получают в ней свое новое и яркое выражение. Разгром «правой оппозиции» в 1929 году привел к превращению «культурной пятилѣтки» из реального плана культурного строительства, составленного на основѣ опыта последних лѣт Нэпа и продолжавшего развитие этих лѣт, в программу нового наступления воинствующего коммунизма и к новой попыткѣ осуществления коммунистического идеала образования. В этой новой, третьей, фазѣ его развития сливаются воедино «политехнизм» первой фазы и «профессионализм» второй. «Культурноход» пытается осуществить полную общедоступность школы, — на этот раз путем своеобразного элиминирования времени, как фактора духовного развития. Время, казалось бы, не существует для этих энтузиастов просвѣщения, палкой загоняющих непокорный народ в «кликункты», школы и дѣтскіе сады, число которых растет фантастическим образом в сводках «Генштаба Культурреволюции», как именуют себя воевавший Наркомпрос. За один только год удается ликвидировать миллионы безграмотных и ошколить количество дѣтей, превышающее число всех школьников буржуазной Франціи. Вновь оживает идеал полного слияния школы с производством: школа объявляется «производственным цехом предприятия». Снова отменяются такие устои старой школы, как «урок», «учебник», отдельные «учебные предметы» и «папки». Лекции замѣняются в высших учебных заведениях «бригадными» занятиями, «производственная практика» торжествует над «теорией», и даже в начальной школѣ «общеобразовательная работа» подчиняется «общественно-полезному и производственному труду» учащихся. Самая грамотность понимается как «грамотность, в первую очередь политическая», а не «безошибочность в письмѣ». Провозглашается теория «отмирания школы» в коммунистическом обществе, — процесс, предваряющий собою ожидаемое отмирание в нем государства и права. «Комплекс», казалось бы, со-

вершено погребенный в последние годы Нэпа, возрождается вновь в усугубленном виде «метода проектов», пытающегося сосредоточить всю «учебу» вокруг тем «социалистического строительства», коего непосредственными участниками должны отныне стать все студенты вузов, все школьники и даже младенцы детских садов. Близким советам кажется то время, когда школа не будет нуждаться в особом, «автономном» бюджете, а будет содержать себя сама — из прибылей предприятий, коих «производственным цехом» она стала, студенты же не будут нуждаться ни в каких стипендиях, а будут содержать себя сами — на заработную плату за свою «производственную практику». Вместе с классовыми различиями и противоположностью города и деревни, казалось, отомрет советам и противоположность умственного и физического труда.

В этой новой эсхатологии нет уже и следа былого оптимизма, что все образуется само собою, и что диктатура есть чуть ли не та же самая демократия, доведенная до крайних своих пределов. Опыт революции разделил то, что мирно уживалось вместе в дореволюционном марксизме. Сам марксизм испытал превращение, которое не снилось его основоположникам. Разгром «правой оппозиции» прошел под знаком такого истолкования марксизма, которое поставило классический марксизм на голову. Марксово учение о том, что идеологическая надстройка определяется хозяйственным базисом, имеет, оказывается, значение только для буржуазного общества. В коммунистическом государстве, наоборот, идеология определяет все остальное, в том числе и производственные отношения. Под покровом этого превращения экономического материализма в идеократию, окончательно сбросившую с себя первоначальную личину отвлеченной свободы, в политехнической идеал образования и проникли элементы профессионализма второй фазы советской педагогики. Вместо «всей роскоши», с которой свободная человеческая личность всесторонне («политехнически») развивает свои задатки, речь идет сейчас снова о том, чтобы сделать образование орудием всемирной революции, а личность учащегося — средством Партии и государства. «Классовый отбор» усугубляется до классового набора, до мобилизации пролетарского молодняка для штурма командных высот образова-

ния. Усугубляется и профессионализация до полного растворения школы в производстве. Школа утрачивает не только свою автономию, но и свое самостоятельное бытие, что проявляется в отнятии высших учебных заведений у Наркомпроса и передаче их хозяйственным органам управления. Университеты упраздняются и в РСФСР, разбиваются на множество институтов узкой специальности, имеющих целью поставлять государству «квалифицированную рабочую силу» («инженеров от простокваши», как их, спустя три года, станет обзывать советская пресса, издающаяся сейчас над «карликовыми вузами», созданными в результате победы крайнего профессионализма). Но главный отпечаток школьной политики советской власти эпохи пятилетки придает «военизация» школы, включающая школу одновременно и в военный аппарат страны, так что первоначальная цель воспитания борца за идеалы пролетариата усугубляется до цели воспитания бойца Красной Армии.

Неудивительно, что эта новая вспышка коммунистического идеала образования, соединившая в себе все те силы отрицания, которые таились в обеих предыдущих фазах его развития, обернулась в действительности еще более сильным разрушением. В задачу настоящей статьи не входит описание итогов культурной пятилетки (см. мою статью под этим заглавием в № 51 «Современных Записок»). Отмечу только, что фантастический количественный рост школы привел к такому чудовищному снижению ее качества, что сама советская власть была потрясена обнаружившимися результатами. Перегружение школьных помещений тремя и четырьмя сменами, наводнение школы учителями-«краткосрочниками», только что окончившими ту самую школу, в которой они должны преподавать, привело к такому разжижению школы, что она утратила почти все те черты, которые, согласно «буржуазным» представлениям, принято связывать с самым понятием школы. Количество не только не породило качества, но, вопреки марксистской диалектике, его совершенно поглотило. «Метод проектов», отмена учебника, производственная работа и другие новшества последней вспышки марксистской педагогики еще более ухудшили дело, совершенно сбив с толку нового, еще грамотного учителя, советам потерявшегося в тонкостях марксистской схо-

качеством количество поглотило и педагогику, в том числе и коммунистическую. Русская школа, оправившаяся за последние годы Нэпа, начала явно отмирать, хотя и в советском смысле, чем это полагалось по теории третьей фазы коммунистического идеала образования.

## 6.

Вторично, и с еще большей силой, чем в первые годы Нэпа, советская власть, на этот раз во всеоружии своей физической мощи, ушиблась о реальность автономных законов духа и оказалась вынужденной отступить перед идеальной самозаконностью образования. И это отступление оказалось настолько же более сильным, насколько большим был разгон того натиска, с которым Коммунистическая Партия ринулась на штурм командных высот образования, и насколько последовательнее и прямее было отрицание автономии образования и законов, им управляющих. Разгром «левой оппозиции» последовал в 1931 году. Безстыдство, с которым «выпрямленная» генеральная линия Партии обрушилась на все то, что только два года тому назад было провозглашено самым существом коммунистического идеала образования, может быть сравнено только с тем угодливым страхом, с которым советские педагоги даже самого крупного калибра поспешили отречься от заблуждений, вчера только ими усердно защищавшихся.

Я не могу входить здесь в подробности той поучительной «борьбы за качество школы», которая последовала за этим разгромом (см. статью мою в № 51 «Современных Записок»). Скажу только, что она заключалась в последовательной и на этот раз уже ничем не прикрытой реставрации элементов старой школы. Запрещение метода проектов и всех вообще «так называемых активных методов преподавания», сокращение до минимума «общественной» работы учащихся, почти совершенная отмена самоуправления учащихся столь же характерны для этой реставрации, как и восстановление урока как «основной формы организации учебной работы в школах», отдельных учебных предметов, учебника, отбоек, ежегодных экзаменов, авторитета учителя, дисциплины, опирающейся на наказания

еще до исключения из школы, а в высшей школе — университетов, лекций, экзаменов, даже ученых степеней и т. п. Выбсть с утверждением, что наука в университете не может быть «растворена» в производствѣ, и что «теорія» должна имѣть преимущество над «производственной практикой», выставляется сейчас положеніе, что даже во время второй пятилѣтки, т.-е. послѣ совершеннаго упраздненія дѣленія на классы и противоположности города и деревни, противоположность умственнаго и физическаго труда сохранится в полной мѣрѣ. Отмѣна классоваго набора и ослабленіе даже классоваго отбора через приравненіе дѣтей служилой интеллигенціи «дѣтям рабочих, чинов Красной Арміи и ОГПУ, дѣтям Общества политкаторжан» и других слоев пролетарской аристократіи столь же характерно для этой реставраціи, как и возстановленіе десятилѣтней общеобразовательной средней школы, вступительных экзаменов в вузы для всѣх без исключенія кандидатов и сокращеніе числа вузов через соединеніе «карликовых институтоз» в крупныя многофакультетныя учебныя заведенія. А объявленная в этом году чистка учительскаго персонала от всѣх тѣх, кто «пристроился в педагоги, не имѣя достаточнаго педагогическаго образованія», означает уже и сокращеніе искусственно разбухшей во время «культпохода» школьной сѣти до ея нормальнаго размѣра.

Таковы итоги послѣдняго завершающаго года пятилѣтки. Никакія постороннія силы не посягали на этот раз на коммунистическій идеал образованія. Он оказался разѣденным изнутри, своей собственной отрицательностью, в результатѣ своей полной и неограниченной побѣды. В чем заключается своеобразие этой новой реставраціи, в отличіе от той, которая наступила уже было в послѣдніе годы Нэпа и была вновь прервана пятилѣткой? Историческими реальными носителями процесса реставраціи были тогда, как мы знаем, хозяйственники, сильно прослоенные старыми спецами, національныя меньшинства, крестьянство и учительство. Сейчас всѣ эти силы уже разбиты, в значительной мѣрѣ даже уничтожены чисто физически. На этот раз носителем реставраціоннаго процесса является, по видимому, не кто иной, как старая гвардія коммунистическаго партіи, этот послѣдній осколок стараго режима, начинающій

чувствовать себя явно не по себе среди нового, воспитанного революцией поколения. Она, повидимому, не на шутку испугалась сама сейчас той волны arrogantного невежества, которая начинает все больше и больше захлестывать фабрики, заводы, государственные должности и даже армию советской страны. Отсутствие иностранной валюты для оплаты иностранных инженеров тоже, повидимому, сыграло при этом свою роль. Эта старая гвардия никогда не была педагогически заинтересована, и она ничего не имеет в душе против старой педагогики, если только эта последняя обещает защищать завоеванные партией командные высоты лучше, чем все те новые методы, которые в течение 15-ти лет непрерывных экспериментов разоблачили себя сами как «левацкое прожектерство». Замечательно, что в этом отношении старая гвардия находит решительную поддержку среди лучших элементов самого нового поколения. Достаточно только просмотреть внимательно номера журнала «Красное Студенчество» за последний год, чтобы убедиться в том, что в среде нового поколения фастет своеобразное чувство неудовлетворенности, как бы своего рода «комплекс негодности». Как раз лучшие элементы среди нового поколения «красных спецов» говорят об этом совершенно откровенно. «Я чувствую себя», пишет один из этих «красных спецов» (№ 13-14 за 1932 год упомянутого журнала), «обманутым, снабженным фальшивым паспортом. Я имею диплом инженера, но у меня нет сведений и знаний, которые ему соответствуют. Я хочу работать как инженер, а мои товарищи утешают меня, что из меня выйдет хороший директор. Этому надо положить конец. Партия и страна нуждаются не просто в специалистах, а в специалистах высокой квалификации, дурных специалистов нам не нужно. Я представляю собою прекрасный пример того, как не умеем еще мы вести борьбы, как легкомысленно мы жертвуем качеством ради количества». Этому новому поколению, которое никогда не знало старой школы, все последние педагогические мероприятия советской власти представляются не реставрацией старого, а самоочевидными средствами «поднятия качества работы». Как и старая гвардия, и молодое поколение не имеет ни времени, ни интереса размышлять над педагогическими проблемами. Оно хочет строить, а не бороться против старого, ко-

торого оно никогда не видело. Отрицание старого, к которому сводилось все содержание коммунистических теорий в области педагогики, ему чуждо. К тому же техницизм, возвращенный пятилеткой, совершенно вытеснил всякий интерес к идеологии, так же как и самая «диктатура пролетариата», повидимому, совсем уже утратила ныне свое идеологическое содержание, превратившись в простое стремление так или иначе удержать завоеванные командные высоты в руках партии. Элементаризация всего положения в школе, о которой шла речь выше, тоже немало содействовала этому новому настроению. Если в головы учительского молодняка приходится выдирать сейчас простейшие истины о вытирании пыли и проветривании комнат, то задача выдирания в его головы тонкостей коммунистической педагогики оказывается явно безнадежной. Безыгранно разросшееся количество поглотило не только качество, но и самую проблему «нового воспитания» и с нею вместе также и проблему воспитания коммунистического.

Было бы неправильно думать однако, что отказ от коммунистического идеала образования, возвращающий русскую школу к состоянию ее последних лет Нэпа, означает реставрацию школы «старорежимной». Возстанавливаются сейчас только отдельные обломки старой русской школы, те основные элементы всякой школы, без которых невозможна какая бы то ни было образовательная работа. Пока что закладывается только фундамент будущей русской школьной системы, а о стиль возводимого здания теперешние строители и не думают. Да еще далеко до здания и постройки: пока что только как-нибудь расчистить бы обломки, сложить из них фундамент и шалаш для неотложной работы. Повидимому, развитие русской школы пойдет в направлении американизма, намечавшегося уже в последние годы Нэпа, — если не будет новых потрясений, и если за Нэпом школьным, с которого на этот раз начинается коммунистическое отступление, последует Нэп экономической и политической, без которого невозможно укрепление первого. Гадать о формах предстоящих перемен и тем более о контурах будущей русской школьной системы, сейчас преждевременно, да и выходит за пределы настоящей статьи.

С. Гессен.

## Размышления у врат Нового Града

Историки и социологи нередко попадают в положение мольеровских докторов, предпочитающих, чтобы большой помер по правилам науки, нежели выздоровѣл вопреки им; либо художника из сказки, изваявшего статую, превращающуюся в живую женщину. Они создают рабочія гипотезы, вычерчивают схемы исторического развитія, подводят разрозненные, выхваченные из гуши жизни, факты под категоріи «стадій», «періодов» — и вот: схемы наполняются кровью и обрастают плотью, стадіи выстраиваются в ряды, такіе стройные, что нельзя удержаться от соблазна приписать всю эту красоту и гармонию дѣйствию каких-то законов; далѣе — раз уж произнесено слово закон, — оно дѣйствует магически: законы начинают требовать, чтобы с ними и обращались, как с таковыми, чтобы их читли и не смѣли их нарушать. Да и как бы дерзнул на это историк? Вѣдь, он не издает исторических законов; он их только констатирует. Поразительна при этом безпрекословная законопослушность историков, иногда заходящая так далеко, что перед любым «временным правилом» историк готов склониться, как перед законом. Вот примѣр: в своей статьѣ о пятилѣтнем планѣ («Новый Град», № 5), П. Н. Савицкій устанавливает ритмику хозяйственного развитія Россіи за годы 1893-1926. Оказывается, что за это время было два періода подъема, каждый в 7 лѣт, и два — депрессіи, — каждый в 10 лѣт. «Закон» развитія Россіи готов. Что первая «десятилѣтка» пришлось на время русско-японской войны и первой революціи, а вторая — второй революціи и гражданской войны, и, наконец, вторая «семилѣтка» — на время міровой войны и вызванной ею интенсификаціи тяжелой промышленности (ср. замѣчанія С. I. Гессена на статью П. Н. Савицкаго там же), — а войны и революціи не бывают же непремѣнно каждая 7 или 10 лѣт, — это автора не смущает: закон ритмики установлен из наблюдений над оборотом, количеством пушенных на рынок

продуктов и т. п., при намеренном игнорированіи «посторонних» экономикѣ явленій: войны и революціи — вѣдь, это всего лишь элифеномены, показатели, а не факторы.

Приведу еще один примѣр, вычитанный мною из того же номера «Нового Града»: это мнѣніе Г. П. Федотова, цитируемое И. И. Бунаковым в статьѣ «Хозяйственный строй будущей Россіи», — что плановое хозяйство в этой будущей Россіи невозможно, потому что Россія еще не прошла до конца капиталистической стадіи. Мнѣ кажется, что вполне прав И. И. Бунаков, видящій в этом умозаключеніи Г. П. Федотова гипостазированіе исторических понятій. Непонятно, почему это непременно надо изжить до конца одну «стадію», чтобы перейти к другой, — если только не усвоить себѣ той точки зрѣнія, что народы и государства то же самое, что и единичные организмы: нельзя насаждать плановое хозяйство в странѣ, еще не переболѣвшей тѣм, что зовется Hochkapitalismus, как нельзя, скажем, кормить сырым мясом собаку, еще не переболѣвшую тушой. Таково то, быть может, и неосознанное, а-р-г-и-о-г-и, что лежит за разсужденіями с «стадіях» исторического процесса и основываемыми на изученіи этих стадій прогнозами и программами.

Все это — предисловіе к тому, что хочется высказать по поводу главной темы «Нового Града», того вопроса, вокруг котораго ведутся сейчас споры в самом «Новом Градѣ» и около него, споры, основанные нередко на недоразумѣніи, нежеланіи понять чужую мысль, подчас и боязни понять, — о «достиженіях» Совѣтской Россіи и о послѣдствіях этих «достиженій». И вот мнѣ думается, что, несмотря на то, что формально прав И. И. Бунаков в своих возраженіях Г. П. Федотову, по существу — поскольку дѣло идет о предвидѣніи будущаго, прав не он, а его антагонист. И. И. Бунаков разсуждает, казалось бы, вполне здраво: цивилизованный мір идет — это не подлежит сомнѣнію — к плановому хозяйству; недопустимо, чтобы этот процесс не захватил Россіи, когда в ней возстановится правопорядок, чтобы не была использована там вся арматура для этого хозяйства, которая останется в наслѣдство от нынѣшняго порядка; будущее правительство будет вынуждено идти по пути регулировки хозяйственной жизни, ибо иначе как сможет

Россия занять подобающее ей место в ряду других народов? Наконец, кто даст денег России без гарантии, что эти деньги будут употреблены целесообразно и планомерно, а не растрачены? А денег, разумеется, понадобится очень много. Вводит И. И. Бунаков и в то, что в России найдется немало людей, приученных опытом, пусть и уродливым, к ведению такого планового хозяйства. Все это верно, но только все же: вывод из всех этих соображений вытекает с необходимостью при одном допущении, одном *argumento*: революционная власть, революционный уклад будут ликвидированы, — и сразу же наступит полное отрезвление, радикальное исцеление общественной души, общая готовность приступить к восстановлению государства при помощи самых лучших способов, самоновейших средств и по самому рациональному плану.

И. И. Бунаковым все принято в расчет — кроме одного, первостепенной важности условия, условия настолько непреклонного, постоянного, неустранимого, что его можно, пожалуй, возвести на степень исторического закона. Общество не есть организм, не есть «*individuum*», саморазвивающаяся, имманентному закону развития подчиненная величина; у него нет никакой собственной ритмики развития — и нет ее у его отдельных сфер, каковы хозяйство, вера, язык, литература и т. д., и т. д. Все законы, которым якобы безусловно подчиняется жизнь этих сфер, — не больше как формулы, приблизительно выражающие каждую соответствующую кривую развития, на самом деле обусловленную взаимозависимостью всех этих кривых. Но общество состоит из людей, и его жизнь не что иное, как жизнь этих людей. Человеческая же природа неизменна. Люди могут по разному глядеть на мир и на себя, по разному думать, верить, разного желать. Но всегда и повсюду их жизнь подчиняется закону своей собственной ритмики, ритмики «подъемов» и «депрессий». Революции сопровождаются такими подъемами, вызывают их в обществе, — или сами ими вызываются: обь русские революции были в значительной степени обусловлены накопившимся в военное время нервным подъемом масс, почувствовавших свою силу, подъемом, получившим, после демобилизации, новое направление; проявлением инерции, заставившей эти массы, отброшенные от фронта, кинуться на тыл.

Тогда легко было подsunуть массам новые стимулы к активности, осмыслить их потребность в деятельности новыми мотивами, переключить еще не израсходованную энергию. Неверно представление, будто последние революция была результатом депрессии, усталости от войны: главная масса демобилизованных с оружием в руках состояла из едва только мобилизованных и получивших оружие, не имевших ничего против того, чтобы податься — лишь бы не с немецким страшилищем. Революция и есть такой психической «подъем». Но никакой подъем не может длиться бесконечно. Он может искусственно поддерживаться, пока революция не избыта, пока люди подчиняются особаго рода автоматизму революционного уклада с теми его особенностями, которая, являясь по существу отрицанием всего того, что связывается в нашем сознании с понятием «быта» — нормальное рабочее время, обезпеченность кровом и пищею, устойчивость существования, — сами слагаются в особый быт, сносный в силу привычки, но в котором свѣжий человек мог бы в несколько дней; этот «подъем», искусственно поддерживаемый разными революционными наркотиками (митинги, собрания «ячеек» и т. п.) сам является составной частью революционного быта. В конце концов, какой-нибудь случайный толчок, возникновение какого-нибудь центра новой кристаллизации сил может привести к крушению революционной власти. Тогда революционный подъем, державшийся революционным бытом и сам этот быт поддерживающий, сразу идет на убыль, сменяется «депрессией». В этом — главная черта послереволюционных реакций, — в усталости от революционных оказательств, от революционного «строительства», от сперва, может быть, и искреннего, а затем наигранного революционного энтузиазма; в нежелании чего-то добиваться, куда-то и к чему-то стремиться, за что бы то ни было бороться. На этом основывается прочность послереволюционных режимов, режимов передышки, санаторного лечения. Послереволюционная «реакция» это вовсе не непременно торжество «темных сил», не возврат ко всему тому, с отрицания чего революция началась; это по своему существу реакция «обывательщины» против «гражданственности» и государственности; это, если угодно, новый бунт, природу котораго удивительно метко выразил И. В. Гес-

сен (в своем письмѣ в редакцію «Новаго Града»), сравнившій его с бунтом Подколесина против Кочкарева.

Я не знаю, насколько приемлемо утверждение Ф. Степуна («Новый Град», № 5) о «той творческой страстности, с которой русскій народ впрягся в коммунистическое дѣло». Вѣрнѣе, я убѣжден, что эта формула никуда не годится. Вѣдь, если дѣйствительно русскій народ — а не отдѣльныя лица, не ничтожная часть его — впрягся в коммунистическое дѣло, да еще с «творческой страстностью», то почему же он не завел коммунистическаго строя? Кто ему помѣшал? Или что? «Закон стадій развитія»? Или то, что вообще коммунизм неосуществимая вещь, ибо он «противен человѣческой природѣ», как думают иные? Но я сомнѣваюсь, чтобы так думал и Ф. Степун. Я знаю только одно: если революціонный режим в Россіи рухнет, это будет означать, что никакой «творческой страстности» у русскаго народа болѣе нѣтъ.

Повторяю, исход всякой революціи это торжество индивидуальнаго начала над началом коллективности, — причѣм слово «индивидуальное начало» я употребляю в упрощенном, пониженном смыслѣ. Просто — это торжество тѣх настроеній, когда евегушан-у хочется, чтобы его оставили в покоѣ, никуда не звали, не тащили, и никакой новой общественной нагрузки на него не наваливали. А эмигрантская *élite* как раз это ему готовит.

С русской эмиграціей происходит, таким образом, нѣчто аналогичное тому, что было с французской. Это грубое обобщеніе, будто французскіе эмигранты «ничего не забыли и ничему не научились». И в той эмиграціи была своя *élite*, которая научилась, глядя на революціонный опыт со стороны, не неся сама никакой революціонной нагрузки, очень многому, пришла к мыслям, которыми мы и по сей день питаемся. Та реставрація, которую проповѣдывал Жозеф де Мэстр — недавно Сен-Симон считал его своим учителем, — развѣ лишь своей символичкой была похожа на реставрацію Людовика XVIII и Карла X. Он хотѣл, подобно Н. А. Бердяеву, «новаго средневѣковья», в сущности — углубленія революціи, такого отрицанія ея, которое было бы ея истинным, должным,

идеальным «утвержденіем». Если бы Жозеф де Мэстр дожил до наших дней, он бы непременно включил в свою программу «плановое хозяйство» и одобрил бы евразійское ученіе об «идеократіи», признав его своим. Но французы болѣе уже ничего не хотѣли «утверждать». Идеологія Ж. де Мэстра была использована только тѣми, дѣйствительно «ничего не забывшими и ничему не научившимися» эмигрантами, которым она послужила прикрытіем для их домогательств о возвращеніи им их имѣній; а в своей сен-симонистской транскрипціи она стала идеологіей вовсе не цѣлаго интеллигентскаго «ордена», а небольшой и по началу весьма мало вліятельной секты.

На этом аналогія кончается и начинается расхожденіе в положеніи обѣих эмигрантских *élites* — французской и русской. Можно предвидѣть, что в будущей Россіи судьба так называемых пореволюціонных идеологій окажется много худшей, нежели судьба французских. Французская революція, бывшая, как таковая, как массовое движеніе, проявленіем коллективистическаго начала, по своим цѣлям, своим «достиженіям», была индивидуалистична. Реакція против революціи была поэтому реакціей не против революціонной политики, революціонной программы, революціонных достиженій, но против революціи, как режима, как общественнаго состоянія, против ея продолженія, ея «углубленія», ея тактики, ея методов. Евегушан — существо, в мышленіи котораго преобладают ассоціаціи по смежности, почему это мышленіе грубо-символистично. Расхожденіе между революціонным процессом и революціонной «душой», существом революціи, было во Франціи настолько велико, что реакція против революціи, бывшая, как массовое явленіе, реакціей заработавших на революціи, а не ушибленных ею, — «*les satisfaits*», — не коснулась ея символики, ея фразеологіи. Напротив: она обезпечила, если не успѣх по-революціонным идеологій, то во всяком случаѣ снисходительно-равнодушное отношеніе к ним обывателя. Сен-Симон, Ог. Конт, Фурье, Пьер Леру казались мосье Прюдому «своими людьми», исповѣдниками «великих принципов 89 года», между тѣм как де-Мэстра и де-Бональда, союзников «попов», он ненавидѣл острой ненавистью, — хотя носители пореволюціонных идеологій стояли гораздо ближе к этим послѣд-

ним, нежели к идеологами 89 года, а тѣм болѣе — к мосье Прюдому и к флюберовскому мосье Омэ.

Совершенно иначе обстоит дѣло сейчас. Русская революція коллективистична по всему своему существу, и естественно ожидать, это реакція против нея направится на все, что только так или иначе отзывается ею. Обывательскій либерализм и индивидуализм на первое время, послѣ ликвидаціи ея, восторжествует по всей линіи, выражая себя в отвращеніи как от реставраціи так и от сколько-нибудь планомѣрной реституціи. Не в силу дѣйствія несуществующаго закона смѣны стадій общественной эволюціи, а просто в силу психологических законов, управляющих душевной жизнью одѣльных людей, русское возстановленіе будет происходить анархически, враздробь, ошупью, образуя то, что зовется «періодом первоначальнаго накопленія».

Представители эмигрантской элиты, выразители пореволюціонной общественной мысли надѣются найти отзвук у подрастающих в Россіи поколѣній. Матеріал, которым мы располагаем, слишком отрывочен, случаен, скуден, чтобы на основаніи его можно было бы дѣлать какія-либо прочныя заключенія относительно того, чѣм живут и дышат люди, дѣтство и юность которых протекли в революціонной обстановкѣ. Но насколько можно судить по тому немногому, что нам извѣстно, настроенія нынѣшней русской молодежи скорѣе служат подкрѣпленіем догадок, высказываемых мною. Воспитаніе социальнаго сознания и социальнаго чувства в атмосферѣ взаимнаго подсиживанія и обязательнаго взаимнаго шпионажа, внѣдреніе в сознаніе основоположеній социальнаго права в атмосферѣ страшнаго безправія, принудительная игра на голодный желудок в социальное строительство, — каковы могут быть результаты всего этого? Для слабых — духовная гибель. А для сильных, стойких, выносливых? О них мы располагаем замѣчательным человѣческим документом. Это «Хожденіе по вузам» Москвина. В людях, обладающих разумом и волей, эти условія жизни воспитывают, во-первых, готовность стоять за себя, умѣніе позаботиться о себѣ, не растеряться в затруднительном положеніи, привычку полагаться только на самого себя; во-вторых, недовѣріе ко всяким «планам», к коллективным начинаніям, к со-дѣйствію, ко

всему, что предполагает подчиненіе общественному руководству. И. И. Бунаков считает, что невозможно сейчас возвращаться к Адаму Смиуту. А мнѣ думается, что даже не Адам Смит, а Іеремія Бентам должен прійтись как раз по вкусу русскому «новому человѣку», а вмѣстѣ с Бентамом и теоретики формальной, «буржуазной» демократіи, отживающей в Европѣ и в Америкѣ: ибо сейчас для русских людей минимальныя гарантіи личной неприкосновенности и свободы личной инициативы в хозяйствованіи — это самое желанное, жизненно-необходимое: тогда как самыя, казалось бы, полезныя вещи, раз только онѣ хоть чѣм-нибудь напоминают ту единственную форму коллективистическаго строя, какую довелось узнать, окажутся психологически неприемлемыя, уже просто как одиозныя символы.

В таком случаѣ какова будет роль «элиты»? Ей остается на выбор: или взять на себя роль пушкинской дамы, которая «толкует Сея и Бентама», или замкнуться — конечно, не в «корден», который собирался основать И. И. Бунаков и которому он сулит широкія перспективы, — даже не в секту, а в самый обыкновенный интеллигентскій кружок. Она планирует Новый Град, рисующійся ей чѣм-то вродѣ Чикаго или Нью-Йорка, — и скажет спасибо, если ей будет позволено спастись в захолустном скиту. На худой конец — и это ничего. Рано или поздно жизнь проложит к скиту тропинку.

П. Михайлов.

## Инициатива дѣйствій

### I

«Новый Град» дѣлаетъ опытъ созданія «свободной трибуны», — попытку обсужденія передъ всѣми стоящихъ жгучихъ вопросовъ болѣе широкимъ кругомъ участниковъ, в том числѣ и такихъ, которые далеко не согласны с общей «установкой» позицій «Новаго Града». Опытъ этотъ слѣдуетъ привѣтствовать. Исканіе «путей Россіи» не требуетъ замкнутости группировокъ, — замкнутость нужна лишь для политическихъ программныхъ дѣйствій. Между тѣмъ идейная работа зарубежья переживаетъ нѣкоторый застой: сегодняшняя неразрѣшимость многихъ жгучихъ вопросовъ утомляетъ и родитъ апатію. С этимъ состояніемъ необходимо бороться коллективными усиліями: уснувшая мысль — могила для дѣйствій...

Однако, свободная трибуна принесетъ дѣйствительную пользу лишь при соблюденіи нѣкоторыхъ условій. Первое и основное изъ нихъ, — если она не вырождается в личную полемику часто с забвеніемъ существа вопроса, поставленнаго на обсужденіе, и второе — если обсужденіе будетъ стремиться къ раскрытію всѣхъ сторонъ вопроса, а не будетъ уклоняться в пафосъ агитации в пользу излюбленныхъ личныхъ или групповыхъ теорій участниковъ. Другими словами, требуется нѣкоторый академизмъ в разсмотрѣніи поставленныхъ вопросовъ, ясность формулировокъ, полнота аргументации, а не «уводъ душъ» красотой краснорѣчія. Агитация и краснорѣчіе цѣнны в другихъ мѣстахъ, — быть можетъ, даже не сейчасъ, не в наше время... Ибо совершенно правъ Г. П. Федотовъ: «Россія все еще скрыта отсюда в грозovýchъ тучахъ. Все, что мы можемъ, это отдать себѣ отчетъ в направленіи

\*) «Свободная трибуна» создается редакціей для авторовъ, не раздѣляющихъ в цѣломъ міровоззрѣніи «Новаго Града», но заинтересованныхъ в его проблематикѣ.

эле видимыхъ дорогъ». Правильно. Ну, а для «отданія отчета» пафосъ краснорѣчія, пожалуй, даже вреденъ: от шумныхъ фразъ можетъ и еле видимое стать невидимымъ...

### II

Позволю себѣ поставить на обсужденіе рядъ вопросовъ, не сходящихъ со страницъ зарубежной прессы, постоянно фигурирующихъ в темахъ общественныхъ собраний, и даже превратившихся в ходячую монету, правда, неизвѣстной цѣнности. Мнѣ кажется, что первое мѣсто — в порядкѣ обсужденія — принадлежитъ такъ называемой «пореволюционности». Надо, наконецъ, установить точный смыслъ этого понятія, претерпѣвшаго за послѣдніе два-три года странную эволюцію.

Когда этотъ терминъ родился на свѣтѣ Божій и былъ пущенъ в ходъ, онъ могъ быть отнесенъ лишь къ области хронологіи: эпоха послѣ революціи. В этомъ смыслѣ «пореволюционными» были, разумѣется, всѣ: большевики и Марковъ II, евразійцы и младороссы, эрдеки и эс-эры и прочія партіи, группы и организаціи. Разумѣется также, что всѣ группы и партіи должны были учесть измѣненія, совершенныя в странѣ революціей, — учесть ихъ под угломъ зрѣнія своихъ программъ и воззрѣній. Такихъ группъ, которыя «проспали бы революцію» <sup>1)</sup> не могло быть. Не могло быть и неизмѣнности старыхъ программъ или тактическихъ пріемовъ: слишкомъ грандіозенъ былъ переворотъ и послѣдовавшій за нимъ землетрясеніе. Одни ринулись рѣзко назадъ, другіе, напротивъ, стали максималистами, третьи отошли в сторону, не желая принимать участія в «россійскихъ преступленіяхъ», четвертые, наиболѣе стойкіе и реалистичные, стали вносить в свои программы измѣненія, соответствующія по ихъ предположеніямъ будущему классовому и хозяйственному строенію Россіи. Вообще, «стоячей воды» не было: надо было ориентироваться в новомъ положеніи и найти свое мѣсто и прежде всего — свое мѣсто в продолжающейся гражданской войнѣ.

Постепенно, однако, смыслъ термина «пореволюціонный»

<sup>1)</sup> В 1920 и позднѣйшихъ годахъ большевики «открывали» на сѣверѣ в Россіи и в горахъ Алтая народцы, совсѣмъ не знавшіе, что царя, что в Россіи совѣтская власть, и т. д.

стал мѣняться. Он стал пріобрѣтать смысл не только хронологическій, но и «міровоззрѣтельный», — он стал признаком какой-то классификаціи теченій и организацій. Его стали присваивать и что-то такое особое под ним обозначать. Сначала евразійцы, затѣм утвержденцы, потом младороссы, потом «Новый Град» стали «под знамя пореволюціонности»... Мы — «організація пореволюціонная!». Это говорилось с пафосом, с особой значительностью, с удареніем на словѣ, получившем дежурное назначеніе — быть лозунгом. Дежурныя слова, слова облеченныя особым смыслом, россияне любят. Под словом можно было и в прежнія, дореволюціонныя времена собрать довольно значительныя группы. Слово было часто лишь значком какой-то сложной мистической сущности. Мы, старшіе, хорошо знаем, какое значеніе имѣло в прошлом слово «революціонер». Это был не только человекъ, бросавшій бомбы, устраивавшій стачки и возстанія, — нѣтъ. В представленіи многих, революціонеры были людьми, связанными с какой-то таинственной и могущественной организаціей, людьми, до извѣстной степени опредѣлявшими судьбы Россіи. Анархисты на Западѣ, пользовавшіеся тѣми же революціонными методами, как и русскіе революціонеры, никогда не окружались, даже своими послѣдователями, таким ореолом, и никогда не выросли до таких мистических высот, как революціонеры русскіе. Объясненіе этому своеобразному мистицизму найти нетрудно. На Западѣ каждая партія — при давно установившейся политической свободѣ — рассчитывает, имѣя перед собой гораздо болѣе величин извѣстных, чѣм иксов, — обстоятельств непредвидѣнных. В Россіи — наоборот: величин извѣстных, доступных учету, почти нѣтъ, иксов же — превеликое множество. Отсюда — расцвѣтъ фантазіи: иксы каждому могут представляться по разному, — об иксах даже спорить нельзя. Отсюда же — особое значеніе «удач» и «неудач». Удачу или неудачу опредѣляет не точно или плохо рассчитанное дѣйствіе, а конъюнктура... В 90-х годах было время, когда послѣ массовых арестов в социал-демократической партіи уцѣлѣлъ один человекъ (член комитета Радченко) с печатью. Но успѣхи «социал-демократіи» были огромны: Радченко удачно ставил печати на прокламаціях, которыя подхватывали тысячи рабочих, устраивавшіе за-

бастовки. Дѣло простое и *post factum* — понятное. Но тогда — благодаря конъюнктурѣ — Радченко выросал в легендарную фигуру: в его лицѣ работала «могущественная» социал-демократія!

Этот своеобразный характер русской политики ведет к слѣдствію почти неизбежному: к засилью мистики, ничѣм не связанной фантазіи, и даже к извѣстному психологическому отвлеченію ко всякаго рода учетам и расчетам западно-европейскаго типа. Большевики даже *ultra*-реалистическую философію Маркса и Энгельса сумѣли превратить в книгу судеб, от сотворенія міра и до каких-то времен извѣстных только им, магам марксизма.

Теперь — очередь за термином «пореволюціонный»... Это тоже ключ, открывающій всѣ тайны прошлаго и будущаго. Ему, этому волшебному слову, предстоит — по пророчеству написавших его на своем знамени — совершить блестящую карьеру, — такую же, как карьера его собрата в прошлом — революціонера...

### III

Тип стараго революціонера и его идеологія были совершенно ясны. Он почти полностью отвергал существующій строй и не боялся его разрушенія. Иногда, скорѣе для оправданія своей тактики, чѣм для практических цѣлей, он предлагал «строю» компромисс: знаменитое письмо Исполнительнаго Комитета Александру III. Революціонеры готовы были принять конституціонную монархію, чтобы на почвѣ европейской конституціи продолжать революцію до ея конечных социальных предѣлов. А когда этот компромисс не был принятъ, они с чистой совѣстью продолжали дѣло разрушенія ненавистнаго им строя.

Тип «пореволюціонера» не только неясен, но и противорѣчив в самых основных его тенденціях. Кто они такіе — пореволюціонеры? Так же, как и старые революціонеры, они разбиваются на кланы, группы, подгруппы — с разными оттенками. Если суммировать всѣ их высказыванія, — можно с нѣ-

которой грубостью формулировок <sup>2)</sup> вывести их типичныя черты. Попробуем это сдѣлать.

1. Всѣ пореволюціонеры — революціонеры. Они — против коммунизма и хотят его уничтожить всячески: идейной пропагандой, заразительностью лозунгов, но также и революціонными дѣйствіями.

2. Затѣм они вспоминают, что, вѣдь, свершилась великая революція и что от нея непремѣнно надо что-то «пріять». <sup>3)</sup>

3. Дальше начинаются раздѣленія на группы: одни предлагают «пріять» больше, другіе меньше, одни — «націоналисты-максималисты», другіе тоже націоналисты, но не столь максимальные...

4. «Пріять» что-то от революціи нельзя, не «чувствуя эпохи». Всѣ пореволюціонеры «чувствуют эпоху», ея вѣянія, ея дыханіе, ея «мистическую историческую идею». Всѣ они — мессіане. Всѣ они призваны что-то «совершить» Совершенія свершенія — в их лексиконѣ.

5. «Свершать» им придется не только в лабиринтѣ россійских тупиков, но и в атмосферѣ всемірной катастрофы». Глубокой кризис мірового хозяйства дает им повод читать Апокалипсис и задумываться о «концѣ всѣх концов», если... Если к спасенію міра не приложат своих рук не простые смертные (простых смертных, человѣков обыкновенных, пореволюціонеры не любят), а люди «с широкими горизонтами, с творческим воображеніем, с большими идеями», то мір не спасется вовсе. «Развѣ не удивительно, что вождями современнаго человечества являются такіе «фантастическіе» люди, как Ганди, Сталин, Гитлер и Муссолини?» <sup>4)</sup> И потому — поиски «фантастических» людей и любовь — к необычному. Анализировать происхождение столь разных людей, как Сталин и Муссолини, Ганди и Гитлер, понять их дѣйствія в свѣтѣ особых національных условий их стран, — зачѣм? Люди большіе, с неистощимой «творческой фантазіей», значит, — возведем их в ранг «вождей человечества»... О результатах их «вожачества» — когда-нибудь

<sup>2)</sup> Неясное нельзя формулировать «тонко». Тонкость мысли всегда связана с ея отчетливостью.

<sup>3)</sup> Непремѣнно «пріять», а не принять. Первое слово считѣе второго...

<sup>4)</sup> Удивленіе И. И. Бунакова.

послѣ... Достаточно того, что всѣ они великолѣпно фантазируют и... столь же великолѣпно гипнотизируют подвластных им людей, болѣе слабых мозгами и сердцами.

6. Большевиков можно побѣдить только «міросозерцаніем»... У них «цѣлостное міросозерцаніе», и у нас должно быть тоже что-нибудь цѣлостное... Конкретныя программы интересуют менѣе. Во-первых, как создать эти программы, когда еще неизвѣстно, что выйдет из большевицких опытов, а, во-вторых, большевики, вѣдь, «осуществляют» многое из того, что стали бы осуществлять и пореволюціонеры. Вот тут-то и начинается ряд противорѣчій, идейных провалов, «неувязок» и уже безусловное отсутствіе «творческой фантазіи»: прикованность к большевицким «опытам» и полная неспособность представить, что могло бы быть на мѣстѣ того же хозяйственнаго и культурнаго россійскаго поля при других предназначеніях власти. Неспособность даже остро наблюдать. При болѣе остром наблюденіи нетрудно было бы фактически установить зигзагообразную линію совѣтской политики: грандіозный «опыт» и — трусливый спуск на тормозах в угоду требованій вот этого самаго безбрежнаго русскаго поля... Снова «опыт» и снова отступленіе. Кропотливый, но не фантастическій анализ привел бы и к установленію принципиальной линіи этих уступок: эта линія рѣзко отклоняется от «ком-міросозерцанія» и неуклонно идет к «единоличію» мужицкаго управленія своим хозяйством» и в сторону сниженія «американизации страны», не готовой к этому в силу своих культурно-бытовых и экономических условий. Но этой линіи пореволюціонеры не видят. Напротив, — нѣкоторые из них категоричны: не только догнать, но и перегнать большевиков! Большевики усиленно насаждают «государственный капитализм», а мы, пореволюціонеры, вовсе, начисто капитализм уничтожим, ибо «вѣянія эпохи — в апофеозѣ труда»... Что-то такое «трудовое», но отнюдь не капиталистическое. И не социалистическое, ибо социализм стараго типа тоже обанкротился... Обанкротились также и парламентаризм и демократія... Их «затуханіе» — не временное слѣдствіе войны, а изжитость их принципов, их тактики, их цѣлесообразности. Да и вся европейская культура. И т. д. — Напрасно, однако, мы стали бы искать очерта-

ній, конкретних очертаній цього майбутнього строю «пореволюціонерів». Коли цих очертаній ніт в природі, то очевидно, що найфантастичніша з фантазій безсилна їх створити.<sup>5)</sup>

#### IV

Внимательно изучая высказывания пореволюціонерів, невольно задаешь себѣ вопрос: почему звучит в них что-то давно знакомое, слышанное не раз? С чѣм созвучіе, лишь изрѣдка нарушаемое отдельными диссонансами? Годы два тому назад пришлось читать одну из программ евразійцев. Потом эта программа куда-то скрылась. Поразило почти полное, — а в строеніи всѣх «идеократій», диктатуры отбора и т. д. даже полное, — сходство с внутренним духом коммунистических тенденцій. Встрѣчая часто такое же сходство в идеях других групп этого типа, приходишь к невольному выводу и об общей тенденціи «пореволюціонерів»: эти тенденціи находятся в какой-то идейной зависимости от «Октября». В какой?

В Октябрѣ 1917 года большевики проявили огромную инициативу дѣйствій. Зависимое (в принципѣ) от «воли народа», от «будущаго Учредительнаго Собранія» и от настоящаго Совѣта рабочих и солдатских депутатов Временное Правительство, напротив, было слабо инициативой контр-дѣйствій. Между тѣм в революціях инициатива дѣйствій имѣет рѣшающее значеніе: лозунгов и дѣйствій требует взволнованная и революціонная толпа. Ошибочно думать, что эту революціонную толпу большевики взяли «цѣлостным міросозерцаніем». Цѣлостное міросозерцаніе вообще недоступно толпѣ. Масса идет лишь за лозунгами. Міросозерцанія имѣют значеніе лишь воспитательное, — в периоды покоя, затишья. «Мир хижинам и война дворцам», «долой войну», «долой десять министров-капиталистов»,

<sup>5)</sup> В противоположность этим неясностям, — больше отрицаніям, чѣм утвержденіям, — русских пореволюціонерів, интересно процитировать заявленіе тоже «пореволюціоннаго» нѣмецкаго генерала Шлейхера, вчерашняго канцлера: «Теперь ніт в мірѣ чистаго капитализма, но ніт еще нігдѣ и чистаго социализма, — заявил он в одной из своих рѣчей. — Приходится брать необходимые элементы из той и другой концепціи, — в зависимости от потребностей государства и народа».

«земля крестьянам», «фабрики рабочим» — это не міросозерцаніе, это — боевые лозунги. На них шла толпа, огромная часть измученнаго войной народа. К лозунгам бѣлаго движенія «Единая-Недѣлимая», «Собственность — основа порядка», «Земля крестьянам — за выкуп» и т. д. массы оставались холодны. Инициатива дѣйствій большевиков была подержана и в значительной степени осуществлена руками не одних чекистов. Помѣщиков и буржуев охотно мучили и разстрѣливали, войну тотчас же прикончили, фабрики взяли, из «дворцов» прежних обитателей изгнали и поселили новых. Проявляя инициативу дѣйствій, большевики точных расчетов дѣлать не могли: игра была со множеством неизвѣстных. «Удача», «конъюнктура» оказались в их пользу. Как говорил на одном съѣздѣ Ленин, — «апельсины сваливались им с неба». Вѣдь, теперь уже извѣстно из их собственных писаній о прошлом, что часть Ц.К. была и против Брестскаго мира, и против возстанія вообще. Смѣльчаки побѣдили... Побѣдили и — к своему удивленію и к удивленію всего міра — увидѣли, что «инициатива дѣйствій» продолжает оставаться в их руках. Временно взятая инициатива бѣлой борьбы разбилась о ту же «конъюнктуру»: то, что давало «удачу» большевикам, стало «неудачей» для бѣлых армій, — настроеніе революціоннаго народа, — и прежде всего активных его слоев: солдат демобилизованной арміи.

Послѣ крушенія бѣлаго движенія инициатива дѣйствій все время продолжала оставаться в руках побѣдивших большевиков. И вскорѣ же они отлично поняли цѣнность обладанія такой «дѣйственной» инициативой; они ее не выпускали ни на минуту, руководствуясь соображеніем: лучше ошибка, чѣм бездѣйствіе! И они дѣйствуют, — дѣйствуют, сегодня разрушая то, что им же казалось незыблемым вчера.

Но всякій дѣйствующій оказывает неизмѣримо большее вліяніе, чѣм созерцающій или только критикующій. Естественно, что за инициативой дѣйствій по прошествіи многих лѣт к большевикам то тут, то там стала переходить и сила вліянія. Эта сила увеличилась, когда в порядкѣ инициативы новаго дѣйствія появился пятилѣтній план. Это дѣйствіе совпало опять с «удачей». Мировой кризис заставил мечущихся в поисках вы-

хода людей обратить взоры на счастливый восток: не там ли ключ к разрѣшенію страшной проблемы безработицы и прочих атрибутов кризиса? Планированіе стало модным не только у русских пореволюціонеров, но и у многих иностранцев. Но, тогда как послѣдніе ищут форм, размѣров и методов планированія, русскіе во всем максималисты! — во всѣ свои программы ввели, без критики и опредѣленія объема, регулированіе государством! И хотя «завтра» предстоит в Россіи вовсе не обсужденіе регулированія, а, наоборот, раскрѣпощеніе от регулирующаго всевластія государства, — все равно! «Завтра» посмотрим. А сегодня будем пропагандировать «планированіе»...

Нечего говорить, конечно, о вліяніи большевиков в смыслѣ дискредитированія парламентаризма, демократіи, в смыслѣ развитія доказательств «грознаго упадка западной культуры» и т. д. и т. д. Сохраняя инициативу дѣйствій в теченіе 15 лѣт, они сохраняют и даже развивают свое идейное вліяніе. Это совершать им тѣм легче, что революція всегда производит идейное опустошеніе в рядах идеологов, пытающихся итти «против течения». Революціонное теченіе — всегда очень большой силы. Устоять или итти против него не у всѣх хватает сил. Поэтому весьма часто революціонное сущее принимается за должное, обусловленное извѣстными причинами — за эманацию вселенской правды — истины. Анализ и признаніе причин силы революціи подмѣняется «пріятіем» ея вѣлній, часто преходящих и временных даже для самих дѣйствующих революціонеров.

Так рядом с инициативой дѣйствій производят большевики «увод душ» пореволюціонеров идеями... А сами в это время — как раки — пятятся назад, к «прочным договорам» с капитализмом и к «накопленію національнаго богатства Россіи», дающаго возможность помѣриться силами со странами меньшей силы... Тѣ же приемы «вооруженій», как и у капиталистов, тѣ же методы «накопленія и эксплуатаціи», что и у капитализма, лишь по-восточному усиленные и по-грубости нравов — кровью окрашенные... Никаких признаков истиннаго коммунизма Платона, Оуэна и тѣм болѣе Маркса — нѣт и слѣда.

Так обстоит дѣло с инициативой дѣйствія, переходящей в инициативу идейнаго порабощенія...

## V

Слѣдует ли из всего вышесказаннаго, что от русской революціи, — даже в ея октябрьском обликѣ, — нечего «пріять», нечего закрѣпить, нечему идейно поклониться?

Абсолютно не слѣдует. Напротив, в русской дѣйствительности, огнем переплавленной, есть уже и сейчас основы, которым «завтра» предстоит развиваться, укрѣпиться, дать новые ростки. Но эти основы — не система, навязываемая народу сверху и не «міросозерцаніе», цѣлостность котораго вбита в головы людей большевицким молотом. Нѣт. Эти основы — в опытѣ народа и в его духовной расцѣпкѣ прошлаго, настоящаго и будущаго. И есть, поэтому, страшный порок во всѣх разсужденіях «пореволюціонеров»: презрѣніе вот к этому коллективному опыту народа. Презрѣніе это выражается в том, что «диктатура» сильных людей приковывает их вниманіе неизмѣримо больше, чѣм желаніе выслушать «волю народа», понять, какой хозяйственный, политическій и бытовой строй ему нужен. О, это старо, — спрашивать народ, чего он хочет... Идеократія, «мы», планирующіе, «мы» — мессіи, вот кто будет орудовать «завтра» и брать на себя инициативу дѣйствій. Если бы этого презрѣнія не было, люди думали бы над формой, — политической формой такого опроса, такого интереса к высказываніям самого народа, в лицѣ его рядовых масс, в лицѣ не «отобранных» диктатором, а снизу выдвинутых природным разумом переживающаго революцію народа. О «народѣ» вообще в пореволюціонных кругах говорить не принято. Это старо. Это устарѣло. Это пахнет затхлостью 60-х годов. Гораздо интереснѣе люди «великой фантазіи», — Гитлер, Сталин, Муссолини... Инициатива дѣйствій — у них. А, слѣдовательно, и инициатива идейнаго вліянія.

Ек. Кускова.

# Идеи и жизнь

## КРЕСТ И СЕРП С МОЛОТОМ

Тема этой статьи, — главным образом о том, можно ли, при наличии известных оговорок, написать между словом «крест» и словами «серп с молотом» союз «и», или при всех обстоятельствах надо писать союз «или».

В наше время, как будто бы окончательно, выясняется, что в мире борются две силы, — сила христианства и сила безбожного, воинствующего коммунизма, и промежуточное пространство между ними все больше исчезает, проваливается, в полном отсутствии воли и творчества. А от такой исключительности этих двух сил все яснее их непримиримость, их несогласуемость. Таким образом как будто бы совершенно ясно, что и между символами этих сил — между крестом и серпом с молотом — должна существовать такая же несочетаемость, такая же непримиримость, как и между самими силами. Оно и на самом деле так, если мы придадим серпу и молоту то условное значение которое придали им коммунисты: серп и молот, — символ диктатуры пролетариата, символ вводимой желѣзом и кровью системы принудительного счастья, символ поглощения человеческой личности безличным коллективом, символ классовой борьбы, символ уравнительности. К этому можно многое добавить, чего сами коммунисты не добавили бы, но что по существу должно быть теперь связано с этим символом: он говорит о рабстве, о насилии, о мертвечине, о ГПУ, о Соловках, — он говорит, — кричит даже, — о церковных гонениях, о безбожной пятилѣткѣ, — о всем том, что прямо противоположно христианскому отношению к жизни, к человеку, к труду, к творчеству, к историческому процессу, к отношению между классами и т. д. Итак нам надо как будто бы поставить в заглавии статьи словечко «или», и считать, что и самой темой ее в таком виде, как она первоначально озаглавлена, не существует. Но между тем... между тем миру сейчас нужна и насущна подлинная идея серпа и молота, очищенная от коммунистического извращения. Больше того, — не только миру, — Кресту нужно, чтобы в мире эта подлинная идея серпа и молота была воплощена. Другими словами, сейчас становится все яснее и яснее, что известные слова Интернационала: «Никто не даст нам избавленья... Добьемся мы освобожденья своею

собственной рукой», — нуждаются в существенной поправке, и собственной рукой никто ничего не добьется.

Освобождение жизни из тупика, в который она попала, может исходить только оттуда, где силы больше, чем в ней самой, — только оттуда, где есть возможность сверхфизического, сверхисторического разрешения вопроса. Освободить и направить нашу жизнь может только Церковь. Нужно чтобы Церковь, обратившись к волею мира, к социальному аду, несправедливости, кризисам, безработице, — сказала словами, врученными ей от вѣка: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Вот единственные руки, которые действительно могут дать избавление, которые могут освятить человеческий путь и передѣлать серп и молот в символ труда во Имя Христово, — труда на Христовой нивѣ.

Итак, первое положеніе: только именем Христовым можно сейчас сдѣлать единственное нужное миру дѣло, — вывести его из тупика современной безбожной бесплодности и бездарности. Именем Христовым, Крестом Христовым можно придать серпу с молотом их подлинный смысл, — Крестом освятить и благословить труд. «И» не только может, но и должно стоять между словами: «Церковь» и «труд», «Крест» и «серп с молотом».

Тут трудность не в принципѣ, — уничтожьте большевицкій, насильнический подход к дѣлу, и все будет просто. Принципиально, Крест должен быть сочетаем с трудом.

Сложность в том, что возникает еще один очень существенный и рѣшающий вопрос: Крест должен быть сочетаем с трудом, — а это возможно только при наличии еще одной возможности: если доказано, что символ серпа и молота может быть очищен от начала насилия и принудительности, если трудовое начало может быть свободным и вольно избранным. Такое условие неизбежно, потому что и Христос, и Крест, и Церковь ни при каких обстоятельствах не могут идти рука об руку ни с чем, в чем есть элемент насилия и рабства. Поэтому, напримѣр, совершенно невозможно говорить о христианизации коммунизма. Христианизация коммунизма иначе значит уничтожение самой его сердцевины, — его принудительности, его насильничества, диктатуры пролетариата, партійной гегемонии коммунистического правящаго отбора.

Христос — это свобода; Христов Лик, — это утверждение в каждом человекѣ его свободного и богоподобнаго лица, Церковь — это свободный и органический союз вѣрующих со Христом и с Христовой свободой, и Христос призывает труждающихся и обремененных взять Его иго, которое легко, потому что берется свободно. Итак, Христос и насиліе несочетаемы. Если трудовой принцип в современности неизбежно сочетается с насиліем, с диктатурой, с кровью и желѣзом, — то он, действительно, не сочетаем с крестом, и между

словами «крестъ» и «серпъ с молотомъ» надо, дѣйствительно, ставить раздѣляющее словечко «или».

Какъ легко и просто доказать очень убѣдительными доводами возможность свободнаго труда и свободнаго построения общества на трудовомъ началѣ! В самомъ дѣлѣ, человѣчество достаточно испытало на себѣ двѣ противоположныя системы принудительности и насильственности. Старая принудительность капиталистическаго строя, уничтожающая право на жизнь и оставляющая лишь право на труд, за послѣднее время стала лишать и этого права. Принудительность кризисов, принудительность безработицы, принудительность внутренне не оправданнаго и безрадостнаго труда, — довольно всего этого. Но попробуйте перейти къ противоположной системѣ, — она оказывается системой коммунистической принудительности, — тѣмъ же безрадостнымъ трудомъ из-подъ палки, хорошо организованнымъ рабствомъ, насиліемъ, голодомъ, — довольно и этого. Каждому ясно, что надо искать путей къ свободному, цѣлеустремленному и цѣлесообразному труду, что надо намъ принять міръ, какъ нѣкій сад, воздѣлывать который намъ надлежитъ. Кто в этомъ сомнѣвается?

И вотъ тутъ то и встаетъ самый главный соблазнъ, самое мучительное сомнѣніе, тѣмъ болѣе убѣдительное, что оно покоится не только на принципахъ, но и на конкретномъ нашемъ жизненномъ опытѣ.

Начинается вѣчный споръ между свободной истиной Христовой и нѣкимъ инымъ началомъ, споръ, такъ мудро и точно выявленный Достоевскимъ.

Иное начало, у Достоевскаго имѣющее такъ много обликовъ, — сначала древній Римъ, великій и принудительно организованный человѣческой муравейникъ, потомъ великій Инквизиторъ, насильственно насаждающій повсемѣстное счастье, и снимающій отвѣтственность, т. е. свободу съ человѣческой души, наконецъ, Шигалевъ и шигалевщина, бѣсовщина Бѣсовъ, уравненіе горъ, обращеніе человѣчества въ сытое и довольное стадо, имѣющее правда, обязательный трудъ, но зато свободное отъ всякой отвѣтственности.

Такъ было въ дни Достоевскаго. В наши великій Шигалевъ воплотился. В наши дни онъ дѣйствуетъ подъ псевдонимами, пріобрѣтшими мировую славу. Сначала его псевдонимомъ былъ «Ленинъ», теперь «Сталинъ», «коммунистическая власть», «генеральная линія партіи».

В воплощеніи онъ оказывается съ большимъ количествомъ изъянцевъ, чѣмъ теоретическій Шигалевъ Достоевскаго. Тотъ обѣщалъ человѣческому стаду сытость и довольство, — этотъ держитъ всѣхъ впроголодь. Но принципъ-то тутъ одинъ и тотъ же, — насильственность вводимой системы цѣнностей.

Христосъ, давая намъ свой свободный путь и свое вольно избираемое имъ, этимъ самымъ какъ бы подтвердилъ возможность вѣры въ человѣческую свободу и въ божественное достоинство человѣческаго лица.

А мы? Вѣримъ ли мы в эту свободу? Вѣримъ ли мы в это достоинство? Не только в ком-то другомъ, а в насъ самихъ, каждый самъ в себѣ? Очень трудно отвѣтить на этотъ вопросъ положительно, хотя и хочется этого положительнаго отвѣта. И обратно, — ужъ очень много данныхъ для отвѣта отрицательнаго.

В каждомъ изъ насъ сидитъ маленькій Инквизиторъ, и маленькій Шигалевъ, и маленькая генеральная линія партіи, — потому что мы сами ждемъ по отношенію къ себѣ принудительности и охотно примѣняемъ эту принудительность, налаживая свою систему жизни среди другихъ. И не в этомъ даже наша главная бѣда, а в томъ, что эти другіе свои отношеніемъ къ свободѣ и принудительности питаютъ нашего внутренняго Шигалева.

О чемъ я говорю? О самомъ страшномъ, что есть в земной жизни, в историческомъ процессѣ, в біеніи современности, — в томъ, что никто, никто не хочетъ вольно и дружно, свободно и братски строить подлинную, трудническую и свободную, любовную христіанскую жизнь. Если строятъ, то строятъ нѣчто иное, если же есть и не иное, — то не в жизненномъ строительствѣ, а в иногда очень замѣчательныхъ, но всегда — словахъ и теоріяхъ и только словахъ и теоріяхъ.

Какъ пианисту или гѣвцу нужно ежедневно играть и пѣть самыя элементарныя гаммы, — упражняться, — иначе у него ничего сложнаго не выйдетъ, — какъ ремесленнику нуженъ извѣстный мускульный навыкъ, какъ нужна тренировка борцу, — такъ и в христіанскомъ подвигѣ преобразенія міра должна быть свободно создаваемая малая бытовая жизнь.

Зачѣмъ говорить о братствѣ народовъ, если мы живемъ не по братски съ сосѣдомъ по комнатѣ?

Зачѣмъ говорить о свободѣ, если мы не умѣемъ свободно считать нашихъ творческихъ усилій?

Зачѣмъ говорить о христіанскомъ отношеніи къ труду, если мы работаемъ из-подъ палки или никакъ не работаемъ?

Свободное трудничество, — вотъ основа нашихъ путей во Христѣ. И основа эта должна проникать нашу ежедневную и будничную жизнь. Если это не будетъ такъ, то правъ великій Инквизиторъ, права генеральная линія партіи, правы всѣ насильники, уравнители, диктаторы и рабовладѣльцы и люди не — образы Божіи, а стадо.

В этомъ свободномъ трудничествѣ наши усилія должны создавать изъ всякаго общаго дѣла нѣкій монастырь, нѣкій духовный организмъ, нѣкій малый орденъ, нѣкое братство. Если это не такъ, то это значитъ, что мы не поняли и не приняли самаго основнаго, что есть в единомъ великомъ монастырѣ, в единомъ великомъ организмѣ, в единомъ орденѣ, в единомъ братствѣ, — в Церкви.

Большая радость у тѣхъ, кто не сомнѣвается, что свободное трудничество можетъ быть осуществлено в жизни людей. И горе тѣмъ, кто эту вѣру колеблетъ.

Монахиня Марія (Скобцова).

## НѢМЕЦКІЕ ЭКОНОМИСТЫ О СОВѢТСКОМ ХОЗЯЙСТВѢ

Увлечение идеей связаннаго хозяйства, наблюдаемое сейчас в Средней Европѣ, заставляет нѣмецких экономистов внимательно присматриваться к результатам первой пятилѣтки и к грандіозной попыткѣ Совѣтской Россіи создать интегральное плановое хозяйство. Извѣстный берлинскій экономист Фридрих фон Готль, теоретическій отец рационализаци и фордизма, правильно выразил тревогу германской экономической мысли при видѣ серьезных сдвигов в социальном-экономическом унастроении Средней Европы под влияніем дальнѣйшаго углубленія политизаци хозяйства в Россіи. «Большевическій опыт, сказал он, подобен духовной лавинѣ русскаго вулкана, заливающей со стороны Востока мирныя нивы Запада». Та же тревога чувствуется и в рядѣ статей недавно вышедшаго нѣмецкаго сборника «Rote Wirtschaft» под редакціей Добберта и извѣстнаго руссовѣда Отто Геча. Мы встрѣчаем здѣсь такія мысли, как допущеніе возможности зарожденія новой экономической эпохи на Востокѣ, как мысль об угрозѣ капитализму со стороны новых революціонных форм экономического импульса и послѣдовательной этатизаци всего комплекса хозяйственных отношеній.

В Германіи за послѣдніе годы начинает складываться справедливое мнѣніе о наличіи в Совѣтской Россіи самобытнаго хозяйственнаго строя, изученіе котораго не укладывается в обычныя рамки политической экономіи и требует дальнѣйшей разработки цѣлага ряда основных экономических понятій, являющихся лишь историческими категориями хозяйства. В связи с этим возникает необходимость и в созданіи специальныхъ исследовательскихъ институтов. В русскихъ общественныхъ кругахъ нерѣдко приходится слышать мнѣніе, что нѣмцы больше знают о Россіи, чѣм сами русскіе. И тѣм не менѣе лишь немногіе нѣмцы представляют о той большой академической работѣ, которая систематически ведется в Германіи по изученію «краснаго хозяйства». Первоначально эта работа была сосредоточена в Берлинѣ и Бреславлѣ, где функционировало общество по изученію Восточной Европы и были основаны соотвѣтствующіе научно-исследовательскіе центры. Несмотря на то, что во главѣ Бреславльскаго Института стоит такой большой знаток Россіи, как проф. Аугаген, а работами берлинской организаци руководит видный специалист проф. Геч, центр по изученію русской экономіи в Германіи замѣтно перемѣщается в Кенигсберг, гдѣ функционирует особый институт по изученію Россіи и издается періодическій журнал «Ost-Europa-Markt», редактируемый директором восточно-европейскаго ярмарочнаго комитета консулом Юнасом. Здѣсь же, повидимому, начинает сосредоточиваться и дѣятельность издательства, основаннаго Обществом по изслѣдованію Восточной Европы. Однако, не вся работа по изученію совѣтской экономіи сосредоточена в Берлинѣ и на востокѣ Германіи. Имѣются

еще такіе центры и на западѣ, как-то: Институтъ социальныхъ наукъ в Кельнѣ и группа вокруг авторитетнаго экономиста Карла Манна. Всѣ эти организаци, на ряду с отдѣльными видными знатоками Россіи, как Георгъ Клейнов, фон Готль, Преодоль, Фридрихъ Гофман и др., стараются вскрыть особенности совѣтскаго хозяйства, опредѣлить его значеніе для дальнѣйшей эволюціи капитализма и понять его «мессіанскій» активизм в Азіи.

За послѣдніе годы в Германіи были сдѣланы безспорные успѣхи в дѣлѣ изученія большевизма, но было бы ошибкой полагать, что трудный путь к осознанію самобытнаго характера совѣтской экономіи уже пройден нѣмецкими экономистами, и что в ихъ средѣ царит полное единодушіе по этому вопросу. В настоящее время можно говорить лишь об общей тенденціи германской экономической мысли, но нельзя отрицать того факта, что даже самый характеръ совѣтскаго хозяйственнаго строя остается еще по существу спорнымъ. Имѣется ряд теоретиковъ, утверждающихъ, что «красное хозяйство» есть меркантилизмъ, или государственный капитализмъ *suu generis*; другіе видятъ в нем осуществленіе ранней фазы социализма на путяхъ к социализму интегральному, и, наконецъ, третьи, наиболѣе позднее, теченіе настаиваетъ на идеократическомъ характерѣ «цѣлостной политизаци» русскаго хозяйства со стороны совѣтской олигархіи. Не совѣмъ исчезло из германской литературы теперь уже устарѣвшее направленіе, настаивавшее на русской самобытности совѣтскаго хозяйственнаго строя, яко бы вытекающаго из дореволюціонныхъ условій русскаго хозяйства. Какъ ни странно, подобныя мысли еще встрѣчаются у столь огнѣвѣстныхъ руссовѣдовъ, какъ ростовскій экономист Юргенъ Серафимъ, авторитетный ученый Прейеръ и ассистентъ при Кенигсбергскомъ Институтѣ по изученію Россіи Кардъ Майнцъ. В послѣднее время теорія «русскости» большевизма перестала пользоваться успѣхомъ в Германіи, послѣ того какъ на идеѣ «западныхъ корней» совѣтскаго строя сошлись столь разные представители германской экономической мысли, какъ Отто Гечъ, Фридрихъ фонъ Готль и націонал-идеократъ Гансъ Цереръ.

Несравненно большимъ успѣхомъ пользуется также весьма старое ученіе о «капиталистической» основѣ совѣтскаго хозяйства; даже теоретики, настаивающіе на социалистическомъ характерѣ хозяйственнаго строя в Россіи, какъ Гечъ и Доббертъ, говорятъ о примѣненіи большевиками «капиталистическихъ методовъ». Часть представителей этого направленія, хотя бы в лицѣ Вальтера Ойкена, полагаетъ, что сейчасъ в Россіи раскрывается эпоха меркантилизма при одновременномъ обожествленіи американской техники. Сходство с ранней фазой европейскаго капитализма они видятъ в независимости правительства, в принудительной индустриализаци страны, в привлеченіи иностранныхъ специалистовъ, в игнорированіи коммерческаго учета и т. д. Впрочемъ они сами не отрицаютъ, что европейскій меркантилизмъ не зналъ ни столь быстраго темпа индустриализаци, ни столь радикальной реконструк-

ции сельского хозяйства. Это направление едва ли заслуживает особой критики. Утверждать, что большевизм есть «вогнание хлыстом докапиталистической страны в капитализм» — как это дѣлает Ойкен — значит не учитывать меркантилистической эпохи в истории русского хозяйства и не отдавать себѣ отчета в социально-экономическом умысле большевизма. Не менѣ отрицательное впечатлѣніе производят и разсужденія нѣкоторых германских национал-идеократов, хотя бы Ганса Церера, которые пытаются доказать, что большевизм есть «либерализм с марксистским знаком». По их мнѣнію, русский народ открывает сейчас то, что уже 150 лѣт тому назад было открыто французской революціей. Русскіе яко бы только сейчас «изобрѣтают» машину, личность и искусство, переимая у европейцев послѣднія достиженія техники. Церер рѣшается утверждать, что в Россіи зарождается западный либерализм, который приведет со- вѣты к неизбежному созданию особой большевицкой формы капитализма и парламентаризма.

Гораздо болѣе серьезными представляются нам разсужденія дру- гих сторонников «капиталистической теоріи» большевизма (грацскій экономист Вильгельм Андрес, Артур Юст, Андрей Предоль и многіе другіе), которые придают особое значеніе наличію в Совѣтской Россіи коммерческаго учета и иных «капиталистических методов». Еще в 1916 году, когда началось злоупотребленіе термином «государственный капитализм», Леопольд фон Визе правильно указал, что это по- нятіе не выдерживает научной критики. Во всяком случаѣ оно не укладывается в рамки социологій хозяйства, которая опредѣляет при- роду хозяйственного строя в зависимости от господствующаго соци- ально-экономическаго умысле. То, что понимается под государ- ственным капитализмом, является в дѣйствительности смягченной формой государственнаго социализма или простой экспансіей промыш- леннаго этатизма при постепенной эволюціи капиталистическаго строя. Агрессивный и контрольный характер экономических команд- ных высот в Совѣтской Россіи лишает нас возможности уравнивать их с государственным сектором даже новѣйшей фазы капитализма. Как раз эту ошибку дѣлает авторитетный руссовѣд кильскій эконо- мист Андрей Предоль, когда он утверждает, что в Россіи и на За- падѣ имѣется один и тот же хозяйственный строй, — иными сло- вами, государственный капитализм, только на разных ступенях сво- его развитія в сторону плановаго хозяйства. Столь же необѣднтель- ными кажутся нам попытки теоретиков «корпоративно-сословнаго» хозяйства, группирующихся вокруг Отмара Шпанна, которые стремят- ся доказать, что совѣтское хозяйство есть «капиталистическое извраще- ніе корпоративнаго строя». Смѣшеніе большевицких трестов и союз- ных объединеній совѣтских предпріятій с синдикалистскими корпораці- ями является отличительной чертой этого направленія. Нерѣдко слу- чается, что желаніе осмыслить или оправдать совѣтское хозяйство за-

ставляет нѣмецких экономистов становиться на платформу капита- листической теоріи большевизма. Они в этом случаѣ не замѣчают, что рентабельность той или иной операціи в государственном масштабѣ может приносить вред интересам народнаго хозяйства. Так, напри- мѣр, совѣтскій экспорт, при правильном учетѣ обезцѣненія рубля внутри Россіи и принудительнаго характера экспортнаго фонда, имѣ- ет вполне рентабельный характер. Столь же доходной оказывается и «товарная интервенція» при импортѣ, так как она дает возможность выгодно обмѣнивать иностранные фабрикаты на крестьянское сырье, страдающее от «ножниц цѣн». Однако мы видим, что совѣты пред- почитают воздерживаться от рентабельнаго импорта средств потреб- ления и тщательно скрывают доходность своих экспортных операціи, развивающихся за счет внутренняго потребления. Таких примѣров мож- но было бы дать множество. Даже среди сторонников капитали- стической теоріи большевизма мы не встрѣчали в нѣмецкой научной литературѣ лиц, которые стали бы утверждать, что коллективизація сельскаго хозяйства, постройка малорентабельных гигантов и бурный темп индустриализаціи в Совѣтской Россіи были бы вызваны капи- талистическим стремленіем к рентабельности.

Необходимость сводить совѣтскія хозяйственныя мѣропріятія к какой-то государственной или классовой цѣлесообразности вмѣсто частно-хозяйственной рентабельности заставляет многих нѣмецких экономистов отстаивать социалистическій характер совѣтскаго хозяй- ства. Однако это направленіе, имѣющее за собой много логических аргументов, наталкивается на ряд непреодолимых трудностей. С од- ной стороны, наличіе отсылочных благ в формѣ денег, частичное до- пущеніе рыночной цѣны, сдѣльная форма заработной платы, частич- ный коммерскій учет и проч. как бы свидѣтельствуют о нѣкоторой связи совѣтскаго хозяйства с капиталистическими методами хозяйст- вованія; с другой стороны, весь сложный комплекс политизаціи хозяй- ства, наблюдаемый сейчас в Россіи, и отсутствіе капиталистиче- скаго умысле выявляют исключительное значеніе для совѣт- ской экономіи политическаго фактора «власти» и социально-экономи- ческаго неравенства. Эти трудности для социалистической теоріи боль- шевизма учитываются многими сторонниками разбираемой нами шко- лы. Нѣкоторые из них, хотя бы в лицѣ Добберта и Александра Ши- ка, находят логическій выход из положенія, подчеркивая переходный характер современнаго хозяйственнаго строя в Россіи, который раз- сматривается ими как ранняя фаза социализма. Другіе представители этого направленія, как Отто Геч, настолько подчеркивают «воспита- тельное» значеніе пятилѣткіи и фактор «господства» в совѣтской эконо- микѣ, что они уже стоят на грани новѣйшей идеократической теоріи большевизма, разсматривающей совѣтское хозяйство как слож- ную систему политизаціи всего комплекса хозяйственных отношеній в интересах правящей олигархіи. К этому направленію в нѣмецкой

научной литературы, к которому примыкают эти строки, слѣдует отнести всѣх тѣх экономистов, которые, как Георг Клейнов, Карл Манн, Вольдемар Кох, Гидельхер Вирзинг и мн. др., придают особое значеніе фактору политизаціи и социальнo-экономическаго неравенства в совѣтской экономикѣ. В логическія рамки идеократической теоріи большевизма легко укладываются всѣ тѣ явленія, как, напримѣр, рыночная цѣна, сдѣльная заработная плата, или наоборот, отсутствіе принципа рентабельности, которая своей діалектикой представляют непреодолимыя трудности для теоретиков иных направлений. Нѣкоторые представители этой школы учитывают нѣсколько азіатскій характер большевизма и его значеніе для политизаціи остальных хозяйств Азіи. Так Георг Клейнов, авторитетный изслѣдователь русских инородцев и Сибири, рассматривает большевизм как «татаро-турецкую диктатуру над исконно-славянской демократіей». Совѣтская олигархія, имѣющая — по мнѣнію Клейнова — романтичeskій характер, оставит по себѣ цѣлый ряд грандіозных памятников в видѣ Днѣпростроя, Турксиба, Магнитогорска и проч., но методы, примѣняемые большевиками при строительствѣ этих памятников, настолько напоминают средневѣковые приемы, что грозят Россіи лишить ее послѣдняго европейскаго колорита. Тот же Георг Клейнов подробно останавливается на значеніи совѣтской экономики для остальных народов Азіи в своем извѣстном трудѣ о красном империализмѣ. Впрочем утверженіе азіатской миссіи совѣтскаго хозяйства встрѣчается и у представителей капиталистической теоріи большевизма. Так, напримѣр, мы читаем у Андрея Предоля: «Либеральный капитализм не имѣл успѣха на азіатском континентѣ, не вышедшем из своих феодальных пут. Большевизм пробуждает спящія силы Азіи и производит в ней тѣ измѣненія, которыя в свое время были произведены либеральным капитализмом в Америкѣ и в других колониальных странах. Совѣтское хозяйство есть, по всей вѣроятности, специфически-азіатская разновидность нашей динамически-экспансивной системы хозяйства, отвѣчающая социальной структурѣ Востока.

Признаніе со стороны большинства нѣмецких экономистов самобытнаго характера совѣтскаго хозяйственнаго строя заставляет их давать новое толкованіе цѣлому ряду экономических понятій, имѣющих характер исторических категорій. Сейчас, конечно, не может быть и рѣчи о появленіи в Германіи особой монографіи, охватывающей с этой точки зрѣнія всѣ важнѣйшія явленія в совѣтской экономикѣ. Но интересныя попытки в этом направленіи были уже сдѣланы в нѣмецкой научной литературѣ. Так Карл Манн, Кох, Добберт, Шик и мн. др. дают особое «совѣтское» толкованіе понятіям бюджета, кредита, банка, заработной платы, профессиональных союзов, денег и проч., которое отвѣчало бы подлинной сущности совѣтскаго хозяйства и социально-экономическому унастроенію большевизма. Слѣдует еще отмѣтить особый подход многих нѣмецких экономи-

стов к понятію «плана» в совѣтской экономикѣ. Они противопоставляют пятилѣткѣ, как сложному комплексу контрольных цифр, носящих преимущественно ориентировочный характер, болѣе широкій план в смыслѣ изначальной цѣлостной идеи большевизма. Сравнивая большевизм с фашизмом, кельнскій экономист Эрвин Фриш Бекерат утверждает, что большевики, в противоположность фашистам, динамичны в своей тактикѣ и чрезвычайно статичны в основной цѣли. При этом подходѣ нарушеніе пятилѣтки уже не может рассматриваться как крушеніе изначальнаго плана. В понятіе второго входило, напримѣр, рѣшеніе добиться стопроцентной коллективизаціи крестьянских хозяйств, в то время как первая пятилѣтка предусматривала коллективизацію лишь 14,7%. Ускоренный темп индустриализаціи страны, созданіе промышленных гигантов и недостаточная товарность измѣлчавших крестьянских хозяйств, предназначенных обслуживать промышленный сектор хозяйства, заставили большевиков ускорить темп коллективизаціи сельскаго хозяйства и довести число обобществленных хозяйств к началу 1933 года до 80%. Первая пятилѣтка, как форма тактики, нынѣ явно нарушена, но изначальный план, как идея, приблизился к своему осуществленію. При таком смѣлом взглядѣ на совѣтское планированіе, необходимо прійти к выводу, что и самое понятіе плана в совѣтской экономикѣ приобретает совѣтскии характер, отличный от социально-экономическаго плана в рамках связаннаго хозяйства на частно-хозяйственной основѣ, о котором сейчас так много пишут в нѣмецкой экономической литературѣ. При таком подходѣ совѣтское хозяйство уже не может рассматриваться как подлинное плановое хозяйство и лишь сохраняет нѣкоторый отгѣнок организованности в смыслѣ подчиненія всего комплекса хозяйственных отношеній изначальной цѣлостной идеѣ. Характерно, что и тѣ нѣмецкіе экономисты, которые не раздѣляют оригинальной трактовки совѣтскаго плана (а их, пожалуй, большинство), не придают особаго значенія неуспѣхам первой пятилѣтки. Возможную опасность для большевизма они видят в діалектическом сляніи меркантильнаго бюрократизма с крайним держаніем в области хозяйства — о чем так краснорѣчиво повѣствует сборник о красном хозяйствѣ под редакціей Добберта. Не менѣе опасным для совѣтскаго строя представляются им также чрезмѣрное недоѣданіе населенія, оппозиція со стороны колхозов и расточительность гигантскаго строительства. «Совѣтская Россія — говорит Предоль — стоит, как колосс на глиняных ногах, опьяненный успѣхами американской техники: та же вѣра в безконечный техническій прогресс, то же преклоненіе перед количеством, то же стремленіе к безпредѣльному и то же роковое смѣщеніе конъюнктуры с линіей вѣкового развитія». Нѣмецкіе экономисты не отрицают, что совѣтское хозяйство представляет собой угрозу для капиталистических стран Запада, но ощущают ее не в политическом дампингѣ, наличие котораго многими отрицается, и не

в сверхиндустриализации России, полезность которой многими признается, а почти исключительно в заразительности большевистского социально-экономического умонастроения. Эту мысль отчетливо выразил Отто Геч в следующих словах: «Проблема советской экономики с точки зрения мирового хозяйства заключается не в вопросах калькуляции себестоимости и конкуренции, а в чисто психологических моментах. Экономический кризис ослабляет принцип частной собственности и тем увеличивает притягательную силу русского большевизма».

**Б. Ижболдин.**

### ПОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРЕССА

Давно уже «Новый Град» не откликался на издания тех пореволюционных течений, с которыми его связывают друзья и противники, и с которыми у нас, действительно, есть общий фонд идей и стремлений. Думается, однако, что «Новый Град» неправильно зачисляет к пореволюционному лагерю. Его место — стоять в стык двух участков анти-большевистского фронта: старой и молодой эмиграции.

Три номера «Утверждений» уже вполне определили их лицо. Перед нами менее всего орган «утверждений», но скорее «исканий и дискуссий»; если утверждений, то лишь по аподиктической форме, — во всяком случае, утверждений разного порядка. В передовице ном. 3 редакция сама характеризует журнал, как «орган широкой концентрации». Как им широки рамки «Нового Града», но он уже, отъединившись от «Утверждений». «Новый Град» хочет быть органом одного направления, хотя и не партии, «Утверждения» же приближаются к типу пореволюционной трибуны — для всех. Я думаю, что не погрешу против истины, сказав, что «Утверждения» — это орган всех пореволюционно настроенных эмигрантов, которые не могли влиться в уже оформившиеся группы (евразийцев, младороссов и иных).

Мы видим в этой функции журнала его главный политический смысл. При отсутствии политического действия, главное призвание эмиграции — в независимой общественной мысли. Здесь ценен каждый оттенок индивидуальных мнений, поскольку он может пригодиться для построения России. «Новый Град» не может быть таким «парламентом мнений», как ни дорожит он духовной свободой. Для широкого круга лиц «Утверждения» создали такую трибуну.

К сожаленью, приходится признать, что наиболее интересные статьи в «Утверждениях» принадлежат гостям, людям мало или ничем не связанным с редакционной группой. В ном. 3 таковы дискуссионные статьи Устрялова, Дмитриевского и В. Иванова. Последняя однако, при своей талантливости, дышит такой откровенной старорежимно-чер-

носотенной злобой, что мы предпочли бы видеть «Утверждения» без этого красочного янтра.

Редакционная группа связана с личным направлением Ю. А. Ширинского-Шихматова, которое называет себя национал-максимализмом. Политически оно представляет собой типичные пореволюционные национализма. Видеть ли в нем один из вариантов русского фашизма? Должен сказать, что такая квалификация была бы преждевременна. Национал-максималисты искусно обходят подводные камни последних слов, не прельщаясь, очевидно, максимализмом политическим. Отгораживаясь от демократии, они не предопределяют своего политического лица. И, думается, хорошо делают.

У Ю. А. Ширинского-Шихматова есть одна дорогая идея — порядка религиозного, которую он давно уже лансирует в эмиграции. Это идея русского мессианизма. Так как о ней я пишу в другом месте, то здесь могу обойти ее молчанием. Но есть и другая черта религиозного лица «Утверждений», на которую еще не обращали внимания. Христианское ядро редакции является в окружении гностической ауры. Тут и антропософы и манихи и почитатели индийской духовности. Для христианина этот воздух удушлив, для национального политика — вреден. Что делать с гностицизмом в суровой работе русского возрождения? Самая направленность интересов к Востоку — в отличие от евразийцев, не к ближнему, а к дальнему, — мне представлялась бы здоровой, своевременной и нужной для России, — не будь этой мутной религиозной струи.

«Завтра» — юный отпрыск «Утверждений» — не столько их боевой ежечасничник, сколько орган молодежи из школы Ю. А. Ширинского-Шихматова. Как орган молодежи, «Завтра» подкупает свежестью, чистотой и благородством своего порыва. Трогательно читать христианское credo Валентина Андреева. Статья Ильинской о новых германских течениях приятно удивляет культурностью. Молодой Савинков пишет ярко и талантливо. Но его статья, как и близкая по темб статья А. Яримидзе, грешат основным пороком школы: бессознательным гегельянством. Он проникнуты наивным убеждением в правду исторического процесса и в необходимости этой правды пассивно отдаться. «История работает на нас» (Яримидзе). — «Мы готовы помочь Истории». Мы — «стрелочники Истории» (с большой буквы — Савинков). Очевидно, юным авторам не приходит в голову, что есть не одна, а две истории, что процесс есть борьба, и что в этой борьбе нужно выбрать свой стан. Плыть по течению легко, но куда занесут его воды? Впрочем, от юных и вбурюющих в «жизнь» нельзя и требовать того, чего не хотят видеть многие из годящихся им в отцы. Кстати самое неприятное в «Завтра» это вклады отцов, особенно вульгарная статья С. В. Дмитриевского.

В отличие от нестройной и шумной толпы «Утверждений» и их молодого семинария, «Третья Россия» является в сущности органом од-

ного лица. За множеством авторов-псевдонимов чувствуется одна воля — одна мысль — «организатора» журнала П. Боранецкого. Эта воля серьезна, эта мысль интересна в своей напряженной тяжести. Боранецкий идет своей дорогой, и в одиночестве его сила. Второй номер его журнала во многом выяснил его позиции и особенно его мирозерцание. Номер 1 появился в слишком скромном, приглаженном и благопристойном костюме, чтобы вызвать с нашей стороны потребность в острой критике. Признаюсь, после 2-го номера «Третья Россия» не вызывает у нас впечатлительная идеологическая близость. Журнал раскрывает себя, как ярко антибольшевистский, пореволюционный, но при том, — редкая откровенность в наши дни — ярко антихристианский.

Не знаю, из тактических ли потребностей, но в своем отрицании большевизма журнал Боранецкого дал формулы, которые способны обезоружить и Цурикова. К сожаленью, свобода от христианской этики развязывает руки откровенному политическому аморализму: «Политическая борьба... требует измышления недостатков противника там, где их нет, и отрицания его достоинств, там, где они имеются» (стр. 31). Это в тактику (довольно близко к ленинизму). В программу Боранецкий выдвигает крестьянство, как ведущий и творческий класс будущей России. «Спасая себя, Россия спасет мир. Именуя свою группу «народниками-мессиянистами», Боранецкий этим указывает и общее «утвержденческое» лоно, от которого он отпочковался. Однако, его мессиянизм, оторванный от христианства, теряет свой последний смысл. Характерно для нашей эпохи, что чистая политика или социология Боранецкого не удовлетворяют. Ему необходимо религиозное обоснование общества и общего дела. Покопав с христианством — резко вызывающим, булгарским жестом — он ищет новой религии — человекобожества, становящегося в истории Бога. Ницше и Федоров соединяются у него с наследием римского (не греческого) язычества. Вместо средневековья, он прямо, как Муссолини, зовет к Риму. Так как он презирает человеческую личность, то божественное начало человека воплощается для него в государстве. Боранецкий создает настоящую религию государства, напоминающую культ Рима и Августа. Государство у него это Общее, Целое, церковь служения Общему, священный алтарь служения «Новому Богу Единства». (стр. 8-9). В новой технической обстановке воскресает старая дохристианская утопия о государстве-Демииурге. В то же время несомненно, что в этом безклассовом Левиафане отразился как нельзя более ярко, идеал большевистского государства и его демоническая религия. Редко приходится читать что-нибудь более страшное, чем этот призрак грядущей России, вызванный жестокой мечтой Боранецкого. Благодарить Бога за то, что он нашел в себе достаточно честности, чтобы не связывать его с христианством, как делают иные, более гибкие и интеллектуальные, кумиропослужители новой эстетической религии.

Г. Федотов.

## Книги

KOCH, Woldemar. *Die bolschewistischen Gewerkschaften*. Gustav Fischer, Jena 1932, 480 S., 22 Rm.

Книга Вольдемара Коха, немца по происхождению, но родившегося в России и эмигрировавшего в двадцатилетнем возрасте в Германию, является ценным вкладом в новейшую литературу о советском хозяйстве. Его обширный труд, пожалуй, даже слишком обширный, по временам утомляющий читателя богатством своего содержания, рассматривает целый ряд родственных по существу проблем, как-то рабочее движение в России, организация профессиональных союзов в СССР, история заработной платы, большевистская организация труда, принудительные займы на индустриализацию и т. д. Будучи экономистом по образованию, Кох однако ставит себе ряд социологических задач и весьма успешно разрешает их в духе реалистического учения Лепольда фон Визе, исследуя междулические отношения в сфере труда и профессионального движения рабочих. Не избежал также и значительного влияния ныне популярного социолога Михельса, примыкающего к итальянскому фашизму. Тем не менее содержательный и очень трезвый труд Коха не только лишен всякой политической тенденции, но

прямо даже поражает своей эпической объективностью. Научная ценность книги от этого только выигрывает.

Первую часть своего труда Кох посвящает исследованию взаимоотношения вождей профессионального движения и рабочей массы; показывает социальную дифференциацию в среде чиновничества рабочих союзов и вскрывает взаимную зависимость профессиональных объединений и коммунистической партии. Не ускользает от его внимания также и упорная глухая борьба рабочей бюрократии с красивыми директорами советских фабрик. В результате кропотливого исследования внутренней жизни профессиональных союзов в СССР получается яркая картина фиктивности так называемой «пролетарской демократии», постепенной бюрократизации рабочего движения, разрыва между хозяйственниками и рабочей бюрократией, отрыва масс от коммунистических вождей и проч. Рядовые члены рабочих объединений начинают терять всякий интерес к деятельности фабрично-заводских комитетов, представляющих их интересы при столкновениях с советской администрацией фабрик, и лишь пассивно следят за постепенным захватом всего профессионального движения партийными выдвиженцами и ударниками.

Коха совершенно справедливо отмигает диктаторския полномочия центрального органа рабочих союзов в Москвѣ (ЦСПС), дѣйствующаго по директивам партіи, и указывает на невозможность для рядового рабочаго выйти из под матеріальной и духовной опеки совѣтской рабочей бюрократіи. Из сознанія безпомощности рождается индифферентизм и абсентизм в рабочей средѣ; появляются пресловутая «текучесть рабочих» и искусственныя мѣры свыше в видѣ ударничества и социалистическаго соревнования. Автор однако не удовлетворяется простой критикой совѣтской организации труда, но старается понять и осмыслить, особенно большевизкаго хозяйственнаго строя. В этом мы склонны видѣть его бесспорную заслугу.

Что-же представляют собой профессиональные союзы Совѣтской Россіи? Являясь не профессиональным, а вѣрнѣе «промышленным» объединеніем трудящихся, т.-е. объединеніем не по принадлежности к какой-либо профессіи, но по признаку соответственной отрасли промышленности, совѣтскіе рабочіе союзы служат проводником большевизкаго идеологій в рабочую среду, выполняют директивы партіи в области оплаты труда, контролируют дѣятельность хозорганов, снабжают совѣтскую бюрократію сабжкими силами, навязывают рабочим государственныя займы, финансируют красную армію в качествѣ вспомогательнаго фиска и проч. Мы называем лишь нѣсколько важнѣйших функций

рабочих объединеній в Совѣтской Россіи, но и этого пожалуй уже достаточно, чтобы уяснить себѣ их многостороннюю и партияно окрашенную дѣятельность.

К сожалѣнію недостаток мѣста не дает нам возможности остановиться на всем комплексѣ затронутых автором вопросов. В заключение слѣдует сказать, что интересный труд Коха нѣсколько проигрывает от недостаточнаго вниманія автора к политизации рынка труда в СССР в концѣ 1930 года, когда впервые в широком размѣрѣ стали примѣняться принудительный труд и фактическое прижрѣвление рабочаго к станку. Со всем тѣм содержательная книга Коха является безусловно полезной для каждаго интересующагося совѣтским хозяйством и рабочим движеніем в Россіи.

Б. С. Икболадчи.

**П. Н. САВИЦКАЯ. Мѣсторазвитіе русской промышленности. Берлин, 1932.**

Это — 1-ый выпуск труда, общее заглавіе котораго — Вопросы индустриализации. В 1-ой части книги заключается сводка данных о природных богатствах Россіи. Из этой сводки выясняется, что для промышленнаго развитія Россіи наибольшее значеніе имѣют ея южныя, а в особенности восточныя области.

Вторая часть — перепечатка двух статей автора 1916 года — полемика с покойным Туган-Барановским. По поводу этой книги слѣдует повторить то, о чем уже

речь: о плотворности евразійской не раз приходилось мнѣ говорить идеологиче для науки. Как бы ни оцѣнивать евразійство, как особую философію исторіи и как политическую программу — а когда говорят об евразійствѣ, обычно именно это и только это имѣют в виду, — нельзя не признать наличности одной, безусловно-положительной стороны в этом движеніи: евразійство одно из самых ярких проявленій все сильнѣе сказывающейся в настоящее время тенденціи к тому, чтобы отрѣшиться от научнической рутинны, фетишизма, типостазированной условной категорій и школьных опредѣленій, тенденціи к реалистическому пониманію исторіи, — а это равносильно пониманію исторических объектов как процессов, как вѣчно становящихся и вѣчно измѣняющихся величій, что влечет за собою, естественно, и пониманіе измѣнчивости отношеній между этими величинами. Могут сказать: да кто же из занимающихся наукой этого не знает? Евразійцы ломаются в открытую дверь. На самом дѣлѣ это далеко не так — и как раз ученые всего чаще оказываются в плѣну у вербальных формул. В этом легко убѣдиться, прочитавши хотя бы статьи, в которых Савицкая полемизирует с Туган-Барановским, утверждавшим, что Россія не может рассчитывать на природныя богатства своих окраин, ибо эти окраины лежат слишком далеко от центра (слово «центр» имѣло для него магическое значеніе: для него было очевидно без дальних

слов, во-первых, что «центр» данной народно-хозяйственной величины есть неподвижная точка, а во-вторых, что промышленность не может развиваться нигдѣ как только в этомъ «центрѣ». Порабощенность школьными терминами и является, чаще всего, источником недоразумѣній у противников евразійства, поскольку их полемика направляется не только против евразійской идеологій, но и против научных положеній, выдвигаемых евразійцами. Цѣнность многочисленных изслѣдованій Савицкаго уже в том, что они подтверждают гениальную мысль Менделѣева о смѣщеніи в направленіи к Востоку русскаго «центра» и облегчают для тѣх, кто ознакомится с ними, умственное усиліе, необходимое для ея усвоенія. Различіе между учеными гила П. Савицкаго и Февра от тѣх, против которых направляется их полемика, в том, что первые исходят из учета тенденцій, а вторые — из учета наличнаго положенія вещей, мыслящагося как постоянное и «нормальное». Только первый подход к проблемам исторической жизни и является дѣйствительно научным. Этому различію соответствует и другое: изслѣдователь второго типа склонен, быть может безсознательно, мыслить историческій процесс завершающимся — и притом в формѣ полнаго торжества «нормальнаго» положенія вещей. Изслѣдователю перваго типа легче уберечься от соблазнов финализма и вѣры в историческое предопредѣленіе. Примѣръ Савицкаго в этом отношеніи как раз показателен. В сво-

их предыдущих работах он выступая защитником идеи какой-то предопределенности Евразии-России к «хозяйственной самостоятельности», склонен был видеть в этом чуть-ли не «миссию» России. Теперь мысль его стала осторожнее и трезвее. Продолжая настаивать на том, что хозяйство России — и в этом состоит ее специфическая черта — есть хозяйство материковое, для которого характерно тяготение к автаркии, он, однако, признает, что «автаркия означает возможность завершить в пределах очерченной сферы основные процессы обмена продуктов сельско-хозяйственных на промышленные и наоборот; но вовсе не непременно подразумевает действительное их завершение» (стр. 153). Все же сам автор клонится к тому, чтобы считать, что после великой войны тенденция к реализации «мирового хозяйства» пошла на убыль, будучи перевешена другою — к «территориальному» или «национальному» хозяйству; но так как хозяйство этого типа является и экономически устаревшим и просто неосуществимым в нынешних политических рамках, то единственный выход — «в установлении системы материковых хозяйств», ибо они — «способны к автаркии». Именно Россия — «материк-океан» — способна полнее всего осуществить этот тип хозяйства.

Воззрения Савицкого, несомненно пролагающего новые пути в науку о России, настолько часто были предметом не объективного разбора, а издвательства, подчас

прямо-таки клеветнического свойства, что мне кажется уместным устранить одно возражение, которое его последняя книга, а также и данная здесь оценка ее, наверняка встретят. То, что автор говорит об «автаркии России-СССР», может быть — и будет — понято как своего рода апология большевизма и связанной с нею дипломатии. Поэтому надо еще раз подчеркнуть, что говоря о России-Евразии, России-материком, автор особенно налегает на значение, для России, ее дальневосточных окраин — и в этом уже заключена оценка как большевизма по отношению к японской экспансии, так и тактики иных зарубежных патриотов, эту экспансию приветствующих.

П. М.

**М. В. ВИШНЯК.** Всероссийское Учредительное Собрание Изд. «Современная Записки». Париж, 1932.

Бывают редкие минуты в судьбах народа, когда он стоит на перекрестке путей, и решением его определяется целая историческая эпоха. Для участников пережитое остается волнующим и вечно живым, сколько бы ни миновало долгих лет.

М. В. Вишняк, бывший секретарь Учредительного Собрания, дает в своей содержательной книге яркий очерк всей эпопеи Учредительного Собрания от подготовки созыва его — до эмиграции.

Русская революция не могла быть победена силами, стре-

мившимся сделать ее не бывшей. Перед шедшими к этой цели не было пути; был лишь исторический тупик. Но в русле революции боролись два течения, и ни одному не была заказана победа, так как оба находили доступ к народной душе. Диктатура советов противопологалась власти Учредительного Собрания.

Во вступительных главах автор проследживает исторические и философские — правовые истоки идеи Учредительной власти, а также судьбу ее в истории русской общественной мысли, от декабристов — до 17-го года. Вывод, насколько уясняющий дальнейший ход событий: идея Учредительного Собрания не получила «ни достаточно полного и последовательного обоснования, ни даже всеобщего и бесспорного признания». Признание это (слишком бесспорное, слишком всеобщее), пришло с февральской революцией.

Автор считает роковым опоздание с созывом Учредительного Собрания. Он указывает на ряд причин: перегруженность сложнейшими и острейшими проблемами; медлительность левых кругов; противодействие части к-д. партии; правительственный кризис; июльское возмущение большевиков. Заключение его: опоздание непростительно.

Но автор находит неизбежной и уважительной главную причину задержки: предвзятую мысль, согласно которой выборы должны были производиться органами местного самоуправления. Между тем выборы в земства и

городские думы прошли с должными правовыми гарантиями. Следовательно, таким же порядком могло быть избрано Учредительное Собрание, не дожидаясь выборов местных.

Защищая от многочисленных нападок выработанное Общим Съездом Положение о выборах в Учредительное Собрание, М. В. Вишняк мог бы указать, как преодолевалась на деле пресловутая оторванность депутатов от избирателей, вызванная пропорциональной системой: в течение нескольких месяцев на крестьянских съездах, уездных и губернских, обсуждались кандидатуры в Учредительное Собрание и лишь по длительном извещивании личных качеств кандидатов — утверждались. (Обычно — по одному от каждого уезда). Так составлялись объединенные списки партий с.-р. и крестьянских съездов.

Лишь полная в эти месяцы оторванность цензовой России и части интеллигенции от народа могла породить мнение о «случайных», «нехарактерных» выборах. За всем тем народ достаточно поддержал Учр. Собрание вооруженной рукой, и М. В. Вишняк считает одной из главных причин победы большевиков — отвращение народа к гражданской войне.

Еще в преддверии войны с советской властью, самый трудный и горький день был, конечно, «первый и последний день Учредительного Собрания». М. В. Вишняк воссоздает атмосферу трагического заседания, исполненную

«тягучей тоски, скорби и боли», «жертвенности, не находящей себе выхода», безконечно длящейся великой мятая с глазу на глаз с озвѣрвевшей вооруженной толпой.

Автор не смягчает совершенных ошибок, заслуженно критикует поведение предсѣдателя В. М. Чернова.

Быть может, слѣдовало рѣшиться на немедленное вооруженное столкновение, не «беречь Учредительнаго Собранія», как когда - то «берегли Думу». Автор этого не думает. Но если ошибка и была, — то на путях борьбы.

Когда, к веснѣ 18-го года, большевистская волна стала спадать, то петроградскіе и московскіе рабочіе, в своем большинствѣ, вернулись к знамени Учредительнаго Собранія. Миѣ вспоминается Петроград весной и лѣтом 18-го года, когда большевистскія выступления на заводах заглушались бурными криками в честь Учредительнаго Собранія. Как-то забылось, что на выборах в Петроградскій Совѣт, в маѣ 18-го года, большевики потерпѣли сокрушительное поражение, что главные заводы и стоявшая на Невѣ минная дивизія объявили себя на сторонѣ Учредительнаго Собранія.

Глава, посвященная фронту Учредительнаго Собранія, одна из самых цѣнных: автор раз навсегда покончил со злобными выдумками и добросовѣстными заблужденіями и показал, что возглавляемое Комучем Волжское движение, ярко - революціонное, бы-

ло в тоже время національно-патріотическим.

Но цензурная общественность, испуганная и озлобленная, не могла понять, что спасеніе Россіи возможно лишь на путях революціи.

В то время, как Самара держала фронт, реакціонное сибирское правительство вело с нею таможенную войну. Позднѣе оно же, в союзѣ с разнузданной атаманщиной, предательски свергнувъ Директорію наканунѣ признанія ея союзниками, окончательно отвратило народ от борьбы с Совѣтской властью.

М. В. Вишнякъ заканчивает свою книгу увѣренностью в том, что только через новое Учредительное Собраніе Россія может прийти к свободѣ и благосостоянію, что нѣтъ иного выхода для Россіи. Утвержденіе — недоказуемое. Мы не знаем, как и при какой обстановкѣ падет коммунистическая власть и какими способами будут созданы основные законы Россійской республики. Не исключена возможность, что обстоятельства заставят съѣзд свободных совѣтовъ взять на себя учредительныя функціи. И если Россія в результатѣ добьется демократическаго строя, то великую тяжбу выиграют силы, борвшіяся 15 лѣтъ тому назад под знаменем Учредительнаго Собранія.

С. Жаба.

---

Le Gérant I. Rossel-Chiot.